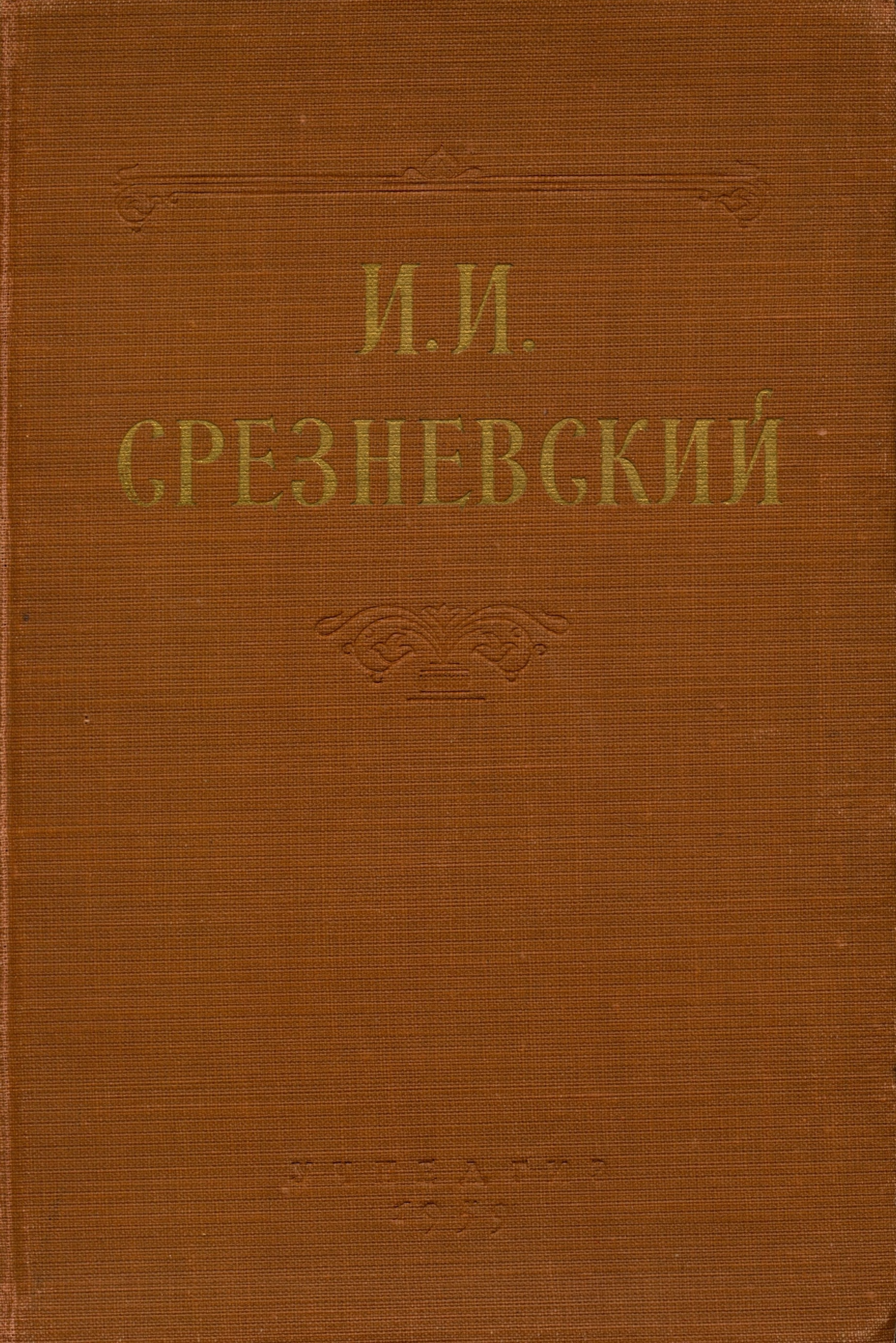
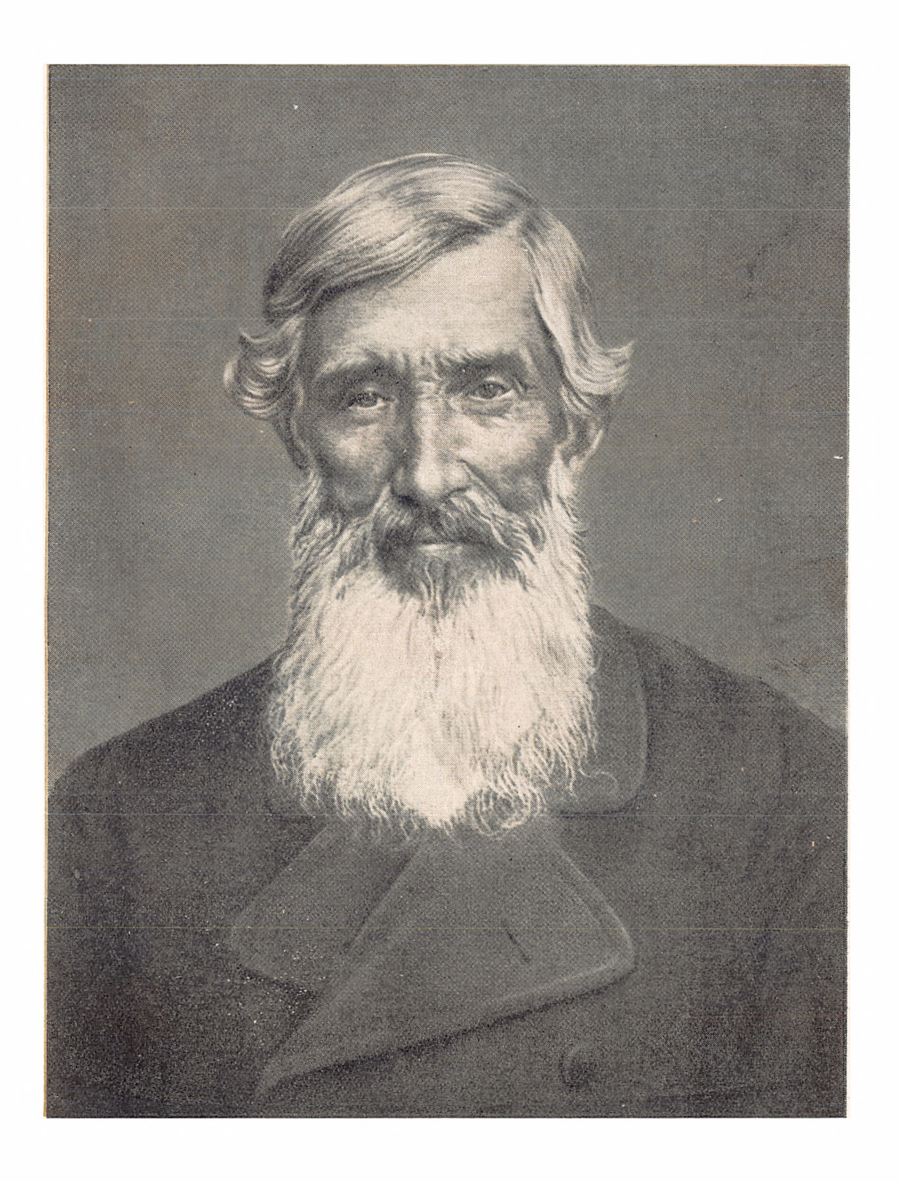

И. И.
СРЕЗНЕВСКИЙ



Академия наук СССР
Отделение литературы и языка

И. И. СРЕЗНЕВСКИЙ

МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА



(ЧИТАНО НА АКТЕ ИМПЕРАТОРСКОГО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 8 ФЕВРАЛЯ 1849 ГОДА)

Государственное
учебно-педагогическое издательство
Министерства просвещения РСФСР
Москва 1959

*Издание осуществлено под наблюдением
Комиссии по истории филологических наук
при Отделении литературы и языка
Академии наук СССР.*



О „МЫСЛЯХ ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА“ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО

8 февраля 1849 г. на годичном торжественном собрании Петербургского университета выступил с речью молодой, но уже известный своими научными работами в области славистики, первый в России доктор славяно-русской филологии проф. Измаил Иванович Срезневский (ему было тогда 37 лет). Речь была посвящена актуальной теме — истории русского языка в сравнительно-историческом освещении — и была скромно озаглавлена „Мысли об истории русского языка“. Речь имела огромный успех не только среди ученых филологов, но и в широких кругах общественности и вызвала большое оживление и обмен мыслей. В течение двух лет „Мысли“ были опубликованы три раза — явление исключительное в истории русской филологической науки.

В 1849 г. „Мысли“ были опубликованы в сборнике „Годичный торжественный акт в Императорском Санктпетербургском университете“ (стр. 61—186, без приложений) и в журнале „Библиотека для чтения“, т. XCVIII (стр. 1—55, 117—138). В 1850 г. „Мысли“ были изданы отдельным изданием, которое в кратчайший срок стало библиографической редкостью. Таким образом, научная речь, прочитанная в стенах университета, быстро получила широкое распространение среди образованных кругов и вызвала ряд весьма сочувственных отзывов в общей печати.

„Современник“ верно отметил историческое значение этого замечательного труда И. И. Срезневского. „Сочинение г. Срезневского, — пишет рецензент „Современника“, — есть как бы полная программа исторических трудов по части русского языкознания, — программа со многими новыми, верными замечаниями, и о том, что уже сделано на этом поприще, и о том, чего должно еще ожидать и на что должно обратить внимание“ [1]. Рецензент журнала „Сын Отечества“ правильно определил общекультурное и общественное значение „Мыслей“ Срезневского. Он пишет: „Не говоря об ученых по званию и призванию, не говоря даже о принадлежащих сколько-нибудь к ученому сословию, каждый образованный читатель, мы уверены, запасется этой книгою, которая, вместе с немногочисленными другими, составляет честь совре-

[1] „Современник“, 1850, № 1, отд. III, стр. 48.

менной нашей литературы... Ученая деятельность г. Срезневского так самостоятельна, так проникнута поэзией учености и пользуется таким уважением у иностранных деятелей на одном с ним поприще, что долг всякого добросовестного русского журнала обозреть эту деятельность и познакомить с нею публику"[1].

Высоко оценили принципиальную важность „Мыслей" ученые-филологи—современники И. И. Срезневского: Ф. И. Буслаев, И. И. Давыдов, М. П. Погодин, А. А. Котляревский, А. Ф. Бычков, П. А. Лавровский и др. Историческое значение этого классического памятника русской лингвистической мысли подчеркивали и такие выдающиеся наши языковеды, как А. А. Шахматов и А. И. Соболевский. „Срезневский, — пишет А. А. Шахматов, — в названном сочинении дал образец сравнительно-исторического изучения славянских языков, ввел в это изучение русский язык и, таким образом, определил тот главный фундамент, на котором должно строиться здание исторической грамматики русского языка, столько широко и блестяще проектированного Буслаевым; мы видим перед собой в этом труде отлично дисциплинированного ученого; ему не только ясно высокое качество сосредоточившегося научного материала, его не только занимает конечная цель научного строительства — это опытный работник, умелой рукой приступающий к самому строительству"[2].

Небывалый успех „Мыслей об истории русского языка" И. И. Срезневского объясняется как исторической обстановкой появления этого произведения, так и его высокими внутренними качествами.

В 20—40-х годах в России в области славяно-русской филологии наблюдалось большое научное оживление. Вопросы сравнительного и исторического изучения русского языка становятся в центре научных интересов крупнейших языковедов. Романтическое увлечение стариной и народностью вызывает усиленный интерес к древнерусским памятникам и живым народным говорам. Кардинальные проблемы русского языкознания начинают привлекать внимание русских филологов. К числу этих проблем относятся прежде всего: 1. Взаимоотношение славянских языков, в частности место русского языка среди славянских языков. 2. Отношение старославянского (церковнославянского) языка к древнерусскому языку. 3. Вопрос о древности русского языка, о древности русских наречий (великорусского, украинского и белорусского). 4. Отношение живого народного языка к письменному (литературному) языку. 5. Основные этапы развития русского литературного языка.

Этих и близких к ним проблем касались основные филологические исследования 20-х и 40-х годов прошлого века.

---

[1] „Сын Отечества", 1850, февраль, Критика и библиография, стр. 51—52.
[2] А. А. Шахматов, Курс истории русского языка, 1908/09 учебный год, т. 1, стр. 449 (литографированный).

В 1820 году было опубликовано знаменитое „Рассуждение о славянском языке“ А. А. Востокова, положившее блестящее начало сравнительно-историческому изучению русского языка. В 1842 году появилось Востоковское описание рукописей Румянцевского музея. Через год появляется его же издание Остромирова Евангелия. В 20-х годах публикуются исследования К. Ф. Калайдовича („Памятники российской словесности XII в.“, „Ионн, экзарх болгарский“). В 1836 году печатаются в „Телескопе“ талантливые статьи по русской литературе Н. И. Надеждина, в которых излагаются новые и верные мысли о русском языке, о его отношении к церковнославянскому и другим славянским языкам, выдвигается идея изучения народного языка как главного признака русской народности. В 1839 г. вышла из печати „История древней русской словесности“ М. А. Максимовича, где освещаются такие лингвистические вопросы, как „О народном русском языке и его видоизменениях“, „О различии главных видов народного русского языка“, „О русском языке в отношении к западнославянским“, „О языке церковнославянском и его образователях“, „О письменном употреблении церковнославянского языка в древней Руси и о влиянии сего языка на народный русский“, „Об отношении русского языка к иноплеменным и их влиянии на него в древние времена“. К 40-м годам относятся „Филологические наблюдения“ Г. Павского, „Корнеслов русского языка“ Ф. Шимкевича, „Судьбы церковного языка“ (т. I и II) П. С. Билярского, „Начатки русской филологии“ и „Филологические наблюдения и исследования“ М. А. Максимовича.

В 1844 году была опубликована замечательная книга Ф. И. Буслаева „О преподавании отечественного языка“, в которой была намечена „блестящая программа глубоко и всесторонне задуманного изучения русского языка“ (А. А. Шахматов). В 1848 г. вышла его же знаменитая диссертация „О влиянии христианства на славянский язык“ (Опыт истории языка по Остромирову Евангелию).

К этому же научному движению присоединяются и „Мысли“ И. И. Срезневского. Прекрасная осведомленность в научной литературе вопроса, хорошее знание древнерусских памятников и славянских древностей, свободное владение всеми славянскими языками, природная одаренность дали И. И. Срезневскому возможность глубоко и широко осветить злободневные вопросы русского языкознания. „Мысли об истории русского языка“ И. И. Срезневского были у нас первым опытом методически последовательного изложения основных этапов истории русского языка. Обладая талантом художника слова, И. И. Срезневский сумел живо, увлекательно и доходчиво нарисовать картину исторического развития русского языка.

Основное содержание рассуждения И. И. Срезневского о судьбах русского языка таково.

I. Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем.

Язык есть нераздельная собственность всего народа.

Изменяются народы — изменяются и языки их. Всякое изменение языка носит закономерный характер.

Языкознание должно раскрыть законы, которым подчиняется развитие языка. История языка должна выяснить: Как изменяется язык в народе? Что именно в нем изменяется? По какому пути идет ряд языковых изменений?

Изучение языка невозможно без исторического направления.

II. Языки в своем развитии проходят через два периода.

Первый период — это период развития форм.

Второй период — это период превращений, период постепенного падения прежних форм, постепенной замены их другими формами.

Прежде всего язык изменяет свой звуковой состав. Звуки перемешиваются. Заменяются одни другими. Часть звуков исчезает, появляются новые звуки.

От изменений в системе звуков изменяется и система корней языка. Первоначально различные по звуковому составу корни совпадают в одном звучании. Первоначально одинаково звучные корни распадаются на различные, внешне не похожие.

Формы образования слов постепенно теряют свое первоначальное (коренное) значение. Образованные слова нуждаются в присоединении иных форм к прежним, так как последние потеряли силу выражать нужный оттенок смысла. К словам присоединяются особые частицы для определения их значения.

Связи с другими народами облегчают заимствования чужих слов.

Формы изменения слов также теряют свой прежний смысл.

Формы смешиваются; из прежних форм образуются новые; другие погибают. То одно из чисел, то один из родов, то одно из времен становится ненужным, излишним. Место простых времен заступают сложные, которые постепенно мешаются, сокращаются. Падежные окончания теряют свою выразительность, обусловливаются предлогами. Из-за ослабления форм словоизменения постепенно изменяется и прежний характер форм словосочетания. В одном и том же языке не все языковые явления изменяются равномерно, вследствие этого в языке уживаются части, разновременно образованные, древние и новые. Все же в результате постепенного превращения изменяется весь строй языка, его характер.

Народы одного племени остаются по образованности, по языку одним нераздельным народом до тех пор, пока не отделяются один от другого.

Только со времени отделения от других народов своего племени народ начинает свою отдельную жизнь, отражая ее в языке.

Язык народа после отделения от родственных народов долго еще остается наречием другого языка; потом сам дробится на наречия, каждое из которых со временем образуется в отдельный язык. Таким образом, история языка каждого отдельного народа есть только часть истории языка целых племен.

Поэтому историк языка данного народа должен иметь в виду два вопроса:

1) Каким был язык народа в то время, когда данный народ отделился от других народов своего племени?

2) Как постепенно изменялся язык в народе, применяясь к его личной народности, к успехам его образованности, внешней и внутренней?

III. Русский народ один из народов славянского племени, которое вместе с племенами литовским, германским, кельтским, греческим, романским, иранским, индийским принадлежит к индоевропейской семье народов.

Поэтому история русского языка прежде всего должна решить вопрос: каковы были строй (формы) и состав (слова́) русского языка в то время, когда он только что отделился от других славянских наречий. В какой степени тогда были развиты формы русского языка и что выражали его слова, как символы понятий и нравов, быта и обычаев народа? Только филология может показать, как и что выражали наши древние предки на языке своем.

Охарактеризовав в главных чертах фонетические, морфологические и отчасти синтаксические особенности древнего первобытного русского языка, Срезневский делает следующий вывод. „Если сравнить древний русский язык в отношении к строю с другими славянскими наречиями в их древнем виде, то нельзя не заметить, что он в первобытном своем состоянии ближе всего подходил к наречию старославянскому и вместе с ним всего более сохранял черты первообразного общего славянского строя".

IV. Вторым вопросом истории русского языка является вопрос, как русский язык изменялся с тех пор, как русский народ занял свое отдельное место между народами Европы, и каким путем русский язык достиг своего нынешнего положения.

Для разрешения этого вопроса прежде всего необходимо отделить историю языка собственно народного от истории языка книжного.

Когда русский народ обратился к христианству, он нашел уже все богослужебные книги на наречии, отличавшемся от его народного наречия очень немногим. Книги эти послужили основанием русской письменности.

Несмотря на близость языка русской письменности к языку народному, в русском языке постепенно отделились, как два наречия, язык письменный и язык простонародный.

Главная причина этого отделения заключалась в необходимой неподвижности языка богослужебных книг. Народ стремился сохранять все особенности языка церкви и нарушал их в пользу своего народного языка только бессознательно.

Наука, которая тогда находилась под покровом церкви, также держалась церковного языка и развивала этот язык дальше, не смущаясь тем, что этим еще более удаляла язык письменности

от живого народного языка. Связи с западом, иноземное влияние на вкус и понятие книжных людей привели к заимствованию массы слов, чуждых народу по звуку и значению. Вслед за словами книжный язык усвоил новые обороты и иной склад речи, которые были чужды народному обычаю.

С другой стороны, сам народный язык, подчиняясь внутренним законам своего развития, шел по пути изменений в своем составе и строе, все больше удаляясь от прежней близости с книжным языком.

Причины внутренние и внешние дробили язык народа на местные говоры и наречия. Так с течением времени должны были язык книг и язык народа отделиться один от другого довольно резкими особенностями.

Таким образом, история русского языка распадается на две истории: история языка простонародного и история языка книжного, литературного.

V. Языковые черты, которые отделяют северное русское наречие (великорусское) от южного (малорусского) хотя и давние, но неисконные. Не столь же давние черты, отделяющие на севере наречие восточное — собственно великорусское от западного — белорусского, а на юге наречие восточное — собственно малорусское от западного — русинского, карпатского. Еще новые черты отличия местных говоров, на которые распалось каждое из русских наречий.

Однако все эти наречия и говоры остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа.

VI. Первые памятники славянской письменности относятся к той поре, когда славянские наречия (языки) отличались одно от другого немногими чертами. Вот почему с такой легкостью мог утвердиться среди всех славян старославянский язык, — язык первых церковных книг, переведенных Кириллом и Мефодием.

Легче всего было утвердиться старославянскому языку в русской письменности, потому что русский язык как по своему строю, так и по составу был значительно ближе к старославянскому языку, чем остальные славянские языки.

Но в язык переводных книг (а их было большинство) проникали некоторые греческие правила словосочетания, греческие обороты речи, византийский слог и письменный язык стал несколько уклоняться от общеславянской стройности языка.

Это и послужило началом отделения языка письменного от языка народного.

Но настоящее отделение языка книг от языка народа началось с того времени, когда в народном языке стали устаревать древние формы и возникать новые.

Народный язык стал изменяться на всем своем пространстве, распадаясь на говоры и наречия, а книжный язык удерживал древние формы, древний строй.

Писавшие по-книжному, хотя и позволяли себе вводить в него слова из народного языка, но характер его строя, кроме отдельных звуков, оставляли почти совершенно неприкосновенным, нарушали его только нечаянно, случайно, по безотчетной забывчивости.

Прочное начало образованию русского книжного языка, отдельного от народного языка, положено было в XIII—XIV веке, когда русский народный язык подвергся решительному превращению древнего своего строя.

До XIII века язык собственно книжный — язык произведений духовных, язык летописей и язык администрации — был один и тот же.

В XIV веке язык светских грамот и летописей, в котором господствовал элемент народный, уже заметно отделился от языка сочинений духовных.

Время отделения книжного языка от народного составляет первый период его развития.

Второй период — развития книжного языка — это период его возвратного сближения с языком народным.

Чем более распространялись образование и письменность, тем более элементы языка народного проникали в книжный язык.

Тогда вместо одного книжного языка явились два: один — древний, сохранивший свой первоначальный строй, только слегка изменивший его под влиянием народного языка; другой — новый, представляющий собою смешение старославянского с живым народным.

А так как народный язык уже делился на наречия, то этот новый книжный язык не мог быть везде один и тот же: в него проникали местные диалектные черты.

Временное отделение Западной Руси от Восточной привело к образованию в XVI—XVII вв. западного и восточного видоизменения нового книжного языка. Только после объединения всего русского народа вокруг Москвы все местные варианты нового литературного языка стали сближаться на основе господствующего великорусского наречия.

Таким образом, новый период истории русского книжного языка знаменует собой ряд побед живой народности над тем, что уже отжило свой век.

VII. С судьбами языка всегда связаны и судьбы словесности. Те же периоды, которые четко выделяются в истории русского языка, выделяются и в истории русской словесности.

Периоду образования русского народного языка в его древнем, первоначальном виде соответствует период образования народной словесности; периоду отделения книжного языка от народного соответствует период отделения книжной литературы от народной словесности, а периоду возвратного сближения книжного языка с народным — период сближения книжной литературы с народной словесностью.

В то время, когда на Руси возникла христианская письменность и книжная литература, русская народная словесность была богата содержанием и неизменной силой.

Как книжный язык не чуждался форм народного языка, так не чуждалась форм народного слога и древняя письменность.

Не только в подлинных произведениях русских книжников, но даже в древних переводах мы видим народность в слоге, в выражении мыслей и образов. В особенности народностью слога проникнуты такие оригинальные произведения, как летописи, поучение Владимира Мономаха, Слово Даниила Заточника, хождение Даниила Паломника, Слово о полку Игореве.

Для составления полной истории русского языка необходимо предварительно подготовить материалы и отдельные частные монографические исследования:

1. Каждый древний памятник языка должен быть издан и разобран в грамматическом, лексическом и историко-литературном отношениях. К каждому памятнику необходимо составить полный словарь.

2. Каждое наречие и каждый местный говор русского языка должен быть всесторонне описан. Должны быть составлены отдельные словари диалектов. Изданы сборники образцов устных народных произведений.

3. Современный русский литературный язык и язык писателей должны быть научно описаны в грамматическом, лексическом и стилистическом отношении. На основе монографического изучения памятников языка старого и современного, книжного и народного можно будет составить исторический словарь и историческую грамматику.

4. Необходимо сравнительно-историческое изучение славянских языков. Только на основе всех этих изучений возможно создание полной и подробной истории русского языка.

В 1852 г. талантливый ученик И. И. Срезневского Петр Лавровский опубликовал свое обстоятельное исследование „О языке северных русских летописей“. Он целиком присоединился к основным положениям своего учителя и утверждал, что русский язык до XIII—XIV века был один нераздельный, что в нем вовсе не было заметно распадения на два отдельных наречия (южное и северное), что в языке русских летописей XIV—XV столетий отсутствуют очевидные признаки малорусского наречия. Однако анализ языка северных летописей показал наличие в нем явных новгородских черт (например, смешение *ц* и *ч*), восходящих к эпохе до XII века. Это наблюдение несколько ограничило категоричность утверждения И. И. Срезневского о полном единстве до XIII в. русского языка во всем его объеме. П. Лавровский внес поправку, что местные отличия в русском языке были с давней поры, но отдельных самостоятельных его наречий еще не было. Эту же мысль высказал позднее (в 1856 г.) и Срезневский в статье „О древнем русском языке“. Здесь он писал: „Это время — XIII—XIV век — было и временем образования местных наречий, великорусского и малорусского, как наречий отдельных. Некоторые особенности местных говоров появились очень рано (например, употребление

ч вместо *ц* и *ц* вместо *ч*: *ручь, отчю, цинъ, цьстьнъ,* смешение *у* и *в*: *вдобь, оуспѣть* и т. п.); но только говоров, а не наречий"[1].

Но было ясно, что проводить грань между говором и наречием почти невозможно.

В 1856 г. на страницах „Известий Академии наук по отделению русского языка и словесности" (т. V, столбцы 70—92) была напечатана в форме письма к И. И. Срезневскому „Записка о древнем языке русском" акад. М. П. Погодина. Исходя из мыслей И. И. Срезневского, поддержанных П. Лавровским, что до XIII века язык собственно книжный и язык народный был один и тот же, что в языке памятников Киевской Руси нет никаких следов диалектных явлений, что распадение русского языка на главные наречия произошло после XIII века, М. П. Погодин, историк и журналист по специальности, к тому же недостаточно глубоко знакомый с методикой лингвистического исследования, но увлеченный националистическими идеями, выступил с фантастической теорией.

Согласно М. П. Погодину в древнем Киеве жило не малорусское (украинское), а великорусское племя, которое говорило на языке, почти тождественном церковнославянскому. Это тождество он объясняет тем, что „племя, что мы называем теперь великороссийским, могло жить в окрестностях Солуни, близ берегов Черного моря, на Днепре, в Киеве, и в нынешней Великороссии". „Великороссийское наречие есть или само церковное наречие, или ближайшее к нему, то есть родное, органическое развитие". Что же касается малороссиян, то они в Киевскую область пришли после татар из Карпатских гор. Этим и объясняется то странное обстоятельство, что в языке древнерусских памятников нет следов украинского языка, но зато много великорусских черт.

Понятно, что свои мысли М. П. Погодин лингвистически никак не аргументировал, да и аргументировать их нельзя было.

Статья М. П. Погодина вызвала оживленную полемику между ним и его другом М. А. Максимовичем[2]. Последний как хороший знаток своего родного украинского языка и самостоятельный и во многом удачный исследователь в области славяно-русской филологии сразу понял полную научную несостоятельность взглядов М. П. Погодина.

Упрекнув его в наивной и излишней доверчивости к необоснованным утверждениям И. И. Срезневского о якобы чрезмерной близости церковного языка к древнерусскому, о единстве книж-

---

[1] См. стр. 84 настоящего издания.

[2] М. А. Максимович „Филологические письма", „Русская беседа", 1856, кн. 3.

М. П. Погодин, Ответ на „Филологические письма" М. А. Максимовича, „Русская беседа", 1856, кн. 4.

М. А. Максимович, Ответные письма М. П. Погодину, „Русская беседа", 1857, кн. 2.

М. П. Погодин, Ответ на два последние письма М. А. Максимовича, „Русская беседа", 1857, кн. 3.

ного и живого языка в древнем Киеве, М. А. Максимович напоминает, что еще Ломоносов ясно различал церковнославянский язык от русского, и это его мнение получило полное подтверждение в позднейших исследованиях славистов-языковедов.

Далее М. А. Максимович верно и точно указывает на двоякую несуразность в положениях М. П. Погодина.

„Ныне ты, любезный академик, — пишет М. А. Максимович, — отождествляя великорусское наречие с церковнославянским, производишь разом два разрыва в естественном родстве славянских народов, во-первых, ты отрываешь церковнославянский язык от ближайших с ним языков задунайских или юго-западных; во-вторых, ты разрываешь ближайшее родство русских наречий, по которому малороссийское и великорусское наречия, или, говоря полнее и точнее, южнорусский и севернорусский языки — родные братья, сыновья одной русской речи. Когда они обособились? Об этом, как видно, еще нет единогласия. Я и теперь полагаю, как объяснял уже в „Истории русской словесности“ (гл. IV и V), что южнорусский язык образовался еще в древнее, дотатарское время, когда Киевская Русь была представительницею русского мира, как после татар, стала Русь Московская“ [1].

Однако и М. А. Максимович, понятно, не в силах был серьезно, лингвистически обосновать свой взгляд на происхождение восточнославянских наречий. Вообще вся полемика вокруг проблемы образования русского языка и формирования отдельных его наречий и говоров не привела и не могла привести к положительному разрешению вопроса, так как сама наука о русском языке в середине XIX века еще не располагала необходимыми предварительными научными исследованиями. К тому же к сложной историко-лингвистической проблеме подходили не с научной, а с позиции полемической и националистической. Все же нельзя сказать, что полемика между двумя старинными друзьями — М. А. Максимовичем и М. П. Погодиным — прошла совершенно бесследно для развития науки: она оказала стимулирующее воздействие на дальнейшие научные разыскания в этой области. Известно, что разрешение этой кардинальной проблемы русского языкознания было центральной задачей всей творческой деятельности А. А. Шахматова [2].

По мере развития русского языкознания ясно обнаружились основные недочеты в построениях И. И. Срезневского.

О некоторых из них хорошо сказано в „Критических заметках по истории русского языка“ И. В. Ягичем (в 1889 г.). Вот что он пишет: „Менее всего удовлетворяют нас теперь два главных

---

[1] М. А. Максимович, Собрание сочинений, т. III, Киев, 1880, стр. 189—190.

[2] О современном состоянии разработки проблемы происхождения украинского языка см. монографию Л. А. Булаховского „Вопросы происхождения украинского языка“ (на укр. языке), Киев, 1956. Автореферат этой работы см. в журнале „Вопросы языкознания“, 1953, № 2, стр. 101—104.

положения, легшие в основание рассуждений нашего незабвенного академика. Первое положение гласит, что в начале исторической жизни русского народа господствовало еще полное единство русского языка, так что „части народа отличались более местными нравами, обычаями, степенью образованности, чем строем и составом языка", и что „русский язык X—XI века, точно так же как и другие славянские наречия этого времени, был в состоянии переходном". Тут не все ясно. Как мы должны понимать единство языка и в то же время переходное состояние его? Когда же это переходное состояние началось? Почему мы знаем, что не было его и раньше X—XIV вв.? Такая же неопределенность заметна в отзывах И. И. Срезневского об отношении языка русского к церковнославянскому. Он говорит, что русский язык „в первобытном своем состоянии ближе всего подходит к наречию старославянскому...", и в том же сочинении допускается существование в древней Руси двух отдельных языков „собственнонародного" и языка „книг и людей, образуемых книгами". Трудно согласить эти положения... Если не было полного единства русского языка в X столетии, если не было очень близкого отношения к нему языка церковного, то нет разумной причины относить „образование книжного языка русского, отдельно от языка, которым говорил народ", только к XIII—XIV веку..., еще же менее позволительно было бы считать это позднее время — XIII—XIV века — началом образования местных наречий, великорусского и малорусского, как наречий отдельных"[1].

Впрочем, неполнота, недостаточная обоснованность и спорность многих разделов „Мыслей" ясно сознавал и сам автор. В пятидесятых годах он продолжал дополнять новыми материалами и заметками свои „Мысли", которые служили ему основанием при чтении в университете впервые созданного им курса истории русского языка. Однако эти дополнения и поправки он считал недостаточными, поэтому отказывался выпустить в свет новое издание „Мыслей", о чем просили его многие друзья и почитатели.

Четвертое издание с позднейшими дополнениями было опубликовано лишь семь лет спустя после смерти И. И. Срезневского, в 1887 г., под заглавием „Мысли об истории русского языка и других славянских наречий".

И. И. Срезневский с пятидесятых годов почти целиком переключился на изучение и издание древних письменных памятников, чем значительно обогатил материальную базу для построения истории русского и старославянского языков. Из многочисленных изданий И. И. Срезневского наиболее ценными являются:

1. Древние памятники русского письма и языка (X—XIII вв.). Общее повременное обозрение. К нему приложения: снимки с памятников, 1866 г.

---

[1] И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПБ, 1889, стр. 2, 3, 4.

2. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. (В Записках Академии наук и отдельно. 1867—1891.)

И. И. Срезневскому принадлежит честь открытия для науки таких первоклассных памятников, как „Саввина книга“, „Листки Ундольского“, „Киевские глаголические отрывки“.

В Академии наук И. И. Срезневский издавал под своей редакцией с 1852 по 1863 г. „Известия по Отделению русского языка и словесности“, всего 10 томов, и в качестве приложения к ним „Материалы для сравнительных и объяснительных словарей“ — 7 том, и „Памятники и образцы народного языка и словесности“ — 4 тетради. В 1854—1863 гг. издавал „Ученые записки“. Эти издания были исключительным явлением во всей славянской науке: они стали основным центром деятельности русских языковедов, историков литературы, палеографов. Чрезвычайно успешной была деятельность И. И. Срезневского в Петербургском университете, где он профессорствовал в течение тридцати двух лет (1847—1879). Учениками его была целая плеяда первоклассных ученых и педагогов: В. И. Ламанский, М. И. Сухомлинов, Н. С. Тихонравов, А. Н. Пыпин, В. Я. Стоюнин, Петр и Николай Лавровские, В. В. Мокушев, А. С. Будилович, Д. Л. Мордовцев, Л. Н. Майков, Р. Ф. Брандт, Т. Д. Флоринский.

Филологическое образование у него получили наши революционные демократы: Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов.

Особо был близок к И. И. Срезневскому его ученик по университету Н. Г. Чернышевский. Н. Г. Чернышевский присутствовал на годичном торжественном собрании университета 8 февраля 1849 г., когда И. И. Срезневский выступил со своей знаменитой речью, он составил под его руководством свой словарь к Ипатьевской летописи, под наблюдением И. И. Срезневского он составил конспект его лекции по истории русского языка, построенный на основе „Мыслей“.

В своем „Дневнике“ за 1848—1850 гг. Н. Г. Чернышевский часто и всегда сочувственно говорит о своем учителе. Приведем некоторые из этих записей:

20 сентября (1848)

Срезневский читал с большим жаром и резкостью, и мне понравилась его живость и одушевление.

24 апреля (1849)

Срезневский слишком хороший человек, и должно быть я ему буду обязан не одним этим, а вообще должно быть он готов сделать все, что может, — действительно весьма благоразумный и добрый человек.

15 января, воскр. (1850)

Все утро и весь день писал Срезневскому, как и в предыдущие дни. С четверга вечера написал 14 листов, т. е. 46—75 страниц его речи отдельного издания...

13 марта (понед. 1850 г.)

Устрялова не было. Срезневский кончил весьма трогательными словами, весьма трогательными, они несколько записаны у меня в тетради, и теперь я с сожалением каким-то вспоминаю, что перестал быть его слушателем. Ни о каком другом профессоре этого не осталось, а это должно быть оттого, что он слишком горячо любит свою науку.

И. И. Срезневский с полным правом мог повторить слова Ф. И. Буслаева „Недурной я был учитель, когда умел взлелеять таких учеников".

„Мысли об истории русского языка" И. И. Срезневского, несмотря на более чем столетнюю их давность, сохраняют свое обаяние и в наши дни. Историческое значение „Мыслей" хорошо охарактеризовал Л. А. Булаховский:

„Современный работник науки об истории русского языка, надо думать, охотно читая или перечитывая труд Срезневского, сличит сделанное к настоящему времени и проблематику, которую эта наука имеет перед собою теперь, с тем, что намечалось Срезневским; постарается вдуматься в причины его ошибок; оценить удачи некоторых его обобщений; в отдельных случаях, может быть, с пользой для дела огорчится, что и после столь долгого времени наши успехи в этой науке меньше того, на что можно было бы надеяться. При всех этих сличениях „Мысли" окажутся меркой большой, достойного серьезного пользования" [1].

В настоящем издании „Мысли об истории русского языка" воспроизводятся по третьему прижизненному изданию (1850 г.). В прямых скобках даются позднейшие дополнения автора согласно четвертому изданию (1887 года).

Дополнительные примечания к „Мыслям", состоящие из трех разделов: 1. Об иностранных словах в древнем русском языке. 2. Образцы переходного состояния русского языка из памятников XIII—XIV вв. в настоящем издании не воспроизводятся, так как они очень устарели как по точности передачи текстов, так и во многих случаях по характеру толкования.

В качестве приложения даются: 1)две статьи И. И. Срезневского, имеющие непосредственно отношение к его „Мыслям": 1. О древнем русском языке. 2. Язык повести временных лет; 2) отрывки из записи Н. Г. Чернышевского курса истории русского языка, читанного И. И. Срезневским в 1849—50 г.

С. Г. Бархударов.

---

[1] Л. А. Булаховский, Измаил Иванович Срезневский. „Русский язык в школе", 1940, № 6, стр. 77.





И. И. Срезневский

МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

I

Позволяю себе остановить внимание Ваше, мм. гг., на одной из тех задач, которых решение должно принадлежать усилиям нашей русской науки.

Она есть, эта русская наука. На нее, как на частную долю науки общечеловеческой, имеет русский народ право столь же исключительное, как и каждый другой народ, сочувствующий успехам науки, на свою собственную долю. Чем народ сильнее духом, своебытностью, любовью к знаниям, образованностью, тем его доля в науке более; но у каждого народа, не чуждого света просвещения, есть своя доля, есть своя народная наука. Народ, отказывающийся от нее, с тем вместе отказывается и от своей самобытности — настолько же, как и отказываясь от своей доли в литературе и искусстве, в промышленности и гражданственности... И главный долг народной науки — исследовать свой народ, его народность, его прошедшее и настоящее, его силы физические и нравственные, его значение и назначение. Народная наука в этом смысле есть исповедь разума народа перед самим собою и перед целым светом.

Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем. Народ и язык, один без другого, представлен быть не может. Оба вместе обусловливают иногда нераздельность свою в мысли одним названием: так и мы, русские, вместе с другими славянами искони соединили в одном слове «язык» понятие о говоре народном с понятием о самом народе. Таким образом, в той доле науки, которую мы можем назвать нашей русской наукой, необходимо должны занять место и исследования о русском языке.

Язык есть собственность нераздельная целого народа. Переходя от человека к человеку, от поколения к поколению, из века в век, он хранится народом как его драгоценное сокровище, которое по прихотям частных желаний не может сделаться ни богаче, ни беднее, — ни умножиться, ни растратиться. Частная воля может не захотеть пользоваться им, отречься от его хранения, отречься с этим вместе от своего народа; но за тем не последует умень-

шение ценности богатств, ей не принадлежащих. Независимый от частных волей, язык не подвержен в судьбе своей случайностям. Все, что в нем есть, и все, что в нем происходит, и сущность его и изменяемость, все законно, как и во всяком произведении природы. Можно не понимать, а потому и не признавать этой законности, но от того законы языка не перестанут быть законами. Можно не понимать их, можно и понять, — и разумение их необходимо должно озарять своим светом наблюдение подробностей языкознания.

Народ выражает себя в языке своем. Народ действует; его деятельностью управляет ум; ум и деятельность народа отражаются в языке его. Деятельность есть движение; ряд движений есть ряд изменений; изменения, происходящие в уме и деятельности народа, также отражаются в языке. Таким образом, изменяются народы, изменяются и языки их. Как изменяется язык в народе? Что именно в нем изменяется и по какому пути идет ряд изменений? Без решения этих вопросов невозможно уразумение законов, которым подлежит язык, как особенное явление природы. Решение их составляет историю языка; изыскания о языке, входящие в состав народной науки, невозможны без направления исторического. История языка, нераздельная с историей народа, должна входить в народную науку, как ее необходимая часть.

[К истории языков примыкает или, лучше сказать, тесно с нею связана этнография. Местные наречия суть видоизменения языка одного народа; различные языки одной отрасли народов суть видоизменения одного и того же способа выражать словами чувства и понятия. Можно это разнообразие рассматривать понародно, группируя языки по племенам и племена по свойствам их языков; можно отделить и определить признаки сходства и сродства языков, и наблюдения, насколько они могли теперь быть верны, привели к заключению, что все языки по своему строю распадаются на два главных разряда: на бесстройные, в которых материя не подчинилась форме, и стройные, в которых материя и форма представляются в правильном слиянии. Те и другие распадаются на несколько отраслей поплеменно. Такими ли и всегда были, какими представляются теперь языки те и другие, и если изменились, то как, — это задача истории языков, задача, до некоторой степени нерешимая, но только до некоторой степени.]

II

Первоначальное образование языков — тайна, которая вскрывается очень медленно, более угадывается, чем сознательно постигается вследствие изысканий. Впрочем несколько выводов, сделанных из соображения данных о языках исследованных, кажутся уже не подлежащими сомнению. Еще менее подлежат сомнению выводы о дальнейшем развитии языков, выводы о двух главных периодах их развития.

Язык в первом начале своем есть собрание звуков без всякого внутреннего строя. Немного звуков, немного и слов, образованных из них, гораздо менее чем представлений, которые бы могли быть ими выражены. Каждое слово стоит в языке отдельно; каждое слово есть само себе корень, несродный с другими. Слова коротки и не подлежат изменениям [1]. Порядок их во фразах случаен. Темно, неопределенно, безотчетно выражает язык жизнь и мысль народа, столь же темную, неопределенную, безотчетную. Одно и то же слово есть вместе название и предмета, и действия его, и качества, и впечатления, ими производимого в уме, точно так же, как и в уме народа все это остается неотделенным.

В этой безжизненности языка есть уже впрочем зачала жизни, и по времени они все более развиваются. Звук один постепенно развивается в несколько сродных звуков, дробится, слагается и разлагается; одно слово-корень получает различный выговор и разнообразит этим свое значение. С тем вместе слова-корни прежние умножаются новыми, иначе звучащими: многие из них погибают, но многие и остаются надолго, даже навсегда. Гораздо более силы жизненной дает языку фантазия народа, управляя словами, как символами понятий. Представления, почему-нибудь кажущиеся сходными, выражаются одним и тем же словом; слово переходит от смысла к смыслу и с приобретением каждого нового смысла все более определяется. Долго эта творческая сила фантазии остается в круге видимого мира; но переходит потом и в мир духовный и становится тогда еще могучее. Сила эта никогда уже не оставляет язык. Обусловливаясь влиянием природы, среди которой живет народ, образом его жизни, взглядом на свой мир внешний и внутренний, она крепнет все более по мере усиления образования народа.

Между тем число понятий народа умножается: в уме народном они слагаются и разлагаются. Сложение и разложение понятий отражается в языке сложением и разложением слов. Слова отделяются от корней: корень слова, бывший доселе словом, может и остаться словом, но, кроме слов-корней, являются во множестве слова не корни, образованные из разных корней, слова определенные формально. В таком образованном слове сначала все части одинаково важны для определительности его значения, но постепенно одна часть делается главной, остальные сохраняют только придаточное значение. К одному и тому же главному корню прибавляются различные придаточные корни, как частицы определительные, как члены, обусловливающие смысл, выражаемый главным корнем, срастающиеся в нераздельные слова с теми словами, которые определяют. С этой поры в языке является производительность, столь же разнообразная, сколько и сильная. Ум

[[1]Pott. Et. Forsch. II. 359—360.
Grimm. Urspr. 24—25. — L. Benloew (De quelques caractères du langage primitif. Paris 1863) доказывает, что первичные языки были односложные, что м. пр. китайский и сохранил доселе.]

народа перестает нуждаться в средствах для выражения оттенков своих понятий и сам развивается с развитием выразительности языка.

Необходимая принадлежность выразительности языка в этом положении есть отличение разных разрядов слов — частей речи, и вместе с тем изменяемость большей части слов, отдельная для каждого разряда. Являются условия отличения трех родов, трех степеней сравнения, трех чисел, трех лиц, трех главных падежей, трех залогов, трех видов, трех главных времен, трех главных форм сочетаний слов и т. д.

И мало-помалу все, что могло жить в языке под условиями определенной формы, все оживляется и живет, подчиненное этим условиям; и народ, вполне сочувствуя формальной стройности языка своего, боится нарушить ее, бережет ее, как святыню.

Разумное начало возобладало в языке, насколько могло выразиться строгостью форм, и нимало не ослабило начала поэтического, а только придало ему художественность. Как во всем, так и в языке, поэтическое только тогда становится художественным, когда подчиняется закону разума. Только на условии этого подчинения язык делается художественным выражением мысли народа. Художественность языка видна тогда не только в красоте языка внутренней — в прекрасно правильном его соотношении с мыслью и в его живописности, но и в красоте внешней — в благозвучности. Только к этому времени в языке развивается правильная система звуков, и сочетания их в отдельных словах и в целых речениях становятся так же согласно плавны и певучи, как они согласно выражают мысль народную. Благозвучность, как законная принадлежность языка в этом положении, как следствие разумного вкуса народа, сближая язык с другим художеством, владеющим звуками, с музыкой, подчиняя его тем же условиям, которым подчинена и музыка, условиям меры и размера, производит в языке формы стихов, в которых логическая связность слов подчинена гармонической связности звуков...

Время развития форм языка составляет первый период его истории. Этот период долог, для иных языков почти нескончаем; тем не менее он есть только первый; за ним должен последовать и второй.

Этот второй есть период превращений. Не всегда он начинается тогда, когда уже совершенно окончен первый; он может начаться и гораздо ранее, так что начало его совьется в двойную нить с продолжением первого, но, решительно отличный от первого по основному началу, в нем господствующему, он всегда может быть отличен от первого. С самого начала этого периода прежняя стройность форм языка расстраивается; новая стройность касается не форм, а самой материи, не материи языка, а мыслей, им выражаемых. Все равно помощью той или другой формы, лишь бы выразил язык то, что он должен выразить. В народе остается

надолго стремление поддерживать прежнюю формальную самостоятельность языка, но те или другие обстоятельства, внутренние и внешние, потрясают ее все более. Связи народа промышленные, умственные, политические, религиозные, кровнородственные с другими народами: это самое важное из обстоятельств внешних. Мысль о ненадобности грамматических форм, о возможности обойтись без них, начинающая свое действие смешением форм и доходящая постепенно до почти полного их отрешения и забвения, мысль, нередко зависящая в своем проявлении от трудности управиться с богатством и разнообразием форм, эта мысль есть самое важное обстоятельство внутреннее. Эта мысль и зарождается и крепнет в уме народа без всякой зависимости от его сознания, часто наперекор ему, безотчетно и непроизвольно, но крепнет по времени все более, все более получает силу закона. Обстоятельства внешние и внутренние действуют на язык заодно и изменяют язык иногда до того, что он возвращается, во внешнем своем виде, к тому хаотическому состоянию, в котором был сначала. Он уже конечно не тот, но почти таков же по своей бессвязности, по раздельности своих составных частей, и может начать сызнова путь своего развития... Впрочем только во внешнем своем виде; по содержанию, если только народ не огрубеет, отрекшись от просвещения, он может остаться вполне выразительным, богатым и сильным орудием мысли. Так как второй период истории языка обрисовывается всегда постепенным падением прежних форм, постепенным заменением их другими, заменением такими другими формами, которые не так неотрешимо спаиваются со словами, которых употребление не так непроизвольно, которые меняются, превращаются, — то его едва ли можно назвать иначе, как периодом превращений.

Вступая в период превращений, язык прежде всего изменяет свою звучность. Звуки перемешиваются, заменяются одни другими, не берегутся по-прежнему в их коренном значении, увеличиваются иногда числом, часто и пропадают, ничем не замененные, слившись с другими; увеличивается более количество звуков сложных, составных, уменьшается более количество звуков простых, нераздельных.

От изменений в системе звуков изменяется и система корней языка. Корни слов тоже перемешиваются; первоначально различные совпадают в одно сочетание звуков; первоначально однозвучные и однозначительные распадаются на различные, по-видимому, совсем не похожие. Некоторые совершенно пропадают или остаются в бедных остатках, как ненужные, потому что в языке нашлись другие средства для выражения тех же идей. Связи с другими народами облегчают заимствования чужих слов, и чужие слова становятся тем необходимее, чем сильнее эти связи.

Формы образования слов теряют постепенно коренное значение: формы, различные по значению, становятся однозначительными, однозначительные разными. Образованные слова нуждаются в при-

ложении иных форм к прежним, для выражения тех же понятий без малейшего оттенения, из-за того только, что форма прежде данная уже потеряла силу выражать это оттенение смысла. Слова удлиняются. Место одного слова заступает иногда два, три и наоборот. К словам приставляют особенные независимые частицы для определения их значения. Чужие слова принимаются в язык без применения их формы к древнему характеру языка.

Формы изменения слов теряют также свой прежний смысл и важность. Разнозначительные формы смешиваются в значении; из прежних форм образуются новые; другие погибают. Погибание старых форм начинается частностями: некоторые слова, прежде изменявшиеся по всем для них возможным формам, остаются только в какой-нибудь одной форме неподвижно или в немногих, более резких. За частными случаями следуют и общие перемены. Тройственность форм в изменении слов нарушается: то одно из чисел, то один из родов, то одно из времен становится ненужным, излишним. Место времен простых заступают сложные; сложные мешаются, сокращаются. Окончания падежные теряют свою выразительность, обусловливаются предлогами, потом и совсем исчезают...

Вследствие ослабления форм словоизменения постоянно изменяется и прежний характер форм словосочетания. Многие из них поневоле пропадают. Место их занимают другие, более подвижные. Потом и эти одни за другими исчезают: отсутствие форм заменяется условиями логики народа, вовсе не зависящими от строя языка. Формальная определенность сменяется описательностью.

Превращение строя языка, будучи вместе и превращением его состава, превратит и логику народа, и понятие его о красоте выражений, внутренней и внешней. Превращение языка в отношении к красоте его выразительности отразится на всем складе речи в прозе и в стихах. И в отношении к складу речи язык может лишиться прежнего разнообразия и прежней определенности форм, даже потерять их вовсе...

Все это может идти в разных языках до некоторой степени различно и доходить не совершенно к одному и тому же концу, но направление всегда одно и то же: превращение, ослабление форм. В одном и том же языке не все превращается равномерно, иное скорее, другое медленнее, и вследствие этого язык становится связью частей, разновременно образованных, древних и новых, но все-таки постепенного превращения нельзя не видеть в изменении всего его строя и характера. Сроднение народа с народом может привести их языки к полному, совершенному превращению. Из двух или нескольких языков может образоваться новый язык, по формам своим и похожий и не похожий на те, из которых он произошел, и до такой степени новый, что законы, которыми управлялись те языки, в своих формах могут до некоторой степени служить только объяснением его состава, но и в его составе и в строе господствовать должны уже не они, а другие, и свою формальную организацию он начинает снова.

[Наблюдая явления превращения языка, нельзя не заметить, что при всей постепенности и непрерывности превращения языка бывают для него особенные годины, когда он выражает сильнее, решительнее свое естественное стремление превращаться, когда он более и более овладевает новым, которое должно вытеснить то или другое старое, когда новизна борется со стариной сильнее, упорнее. Такое состояние языка, состояние переходное, можно в некотором отношении сравнить с состоянием человека при переходе от детства к возмужалости, от мужества к старости или с состоянием растения при переходе от семени к стеблю, от цвета к плоду и т. п. Без сомнения, такое состояние языка не независимо от состояния народа, который говорит им.]

Таков вообще путь, проходимый языком каждого народа, но не каждого отдельно от других народов. У многих народов одного происхождения, у многих племен сродных язык по первоначальному своему образованию один и тот же. Он развился на много разных языков уже после, с течением времени, вследствие различных обстоятельств. Это развитие языка в языки и языков, отделившихся каждого особенно, идет одним и тем же путем, подлежа одному и тому же закону, но под влиянием различных обстоятельств выражается различно. Оттенки различия могут касаться и состава и строя языка. Язык одного племени может повести нить развития форм далее и все более умножать их в себе, между тем как язык другого сродного племени будет принужден ранее начать период превращений по богатству форм далеко отстать от первого, несмотря на одинаковость начала. Тем не менее начало того и другого одно и то же: языка племени нельзя объяснить исторически без знания языка семьи племен, из которого он произошел. Как племена, так и народы одного племени остаются одним нераздельным народом до тех пор, пока не отделяются один от другого, одним народом нераздельным по условиям народности, по образованности, нераздельным и по языку. Только со времени отделения от племени своего народ начинает свою отдельную жизнь, но не с самого начала, а продолжая жизнь, прежде уже бывшую, и отражает ее в языке, но в языке, уже готовом к этому, уже до некоторой степени образованном. Народ развивает свою личную народность из народности своего племени, и язык его, хотя и становящийся постепенно выражением этой отдельной народности, только продолжает путь, уже прежде начатый. Путь этот может быть им и не окончен. Этот отдельный народ может сам разрастись в племя, разделиться на народы, и каждый из них по-своему должен продолжать путь развития языка. Язык не только до отделения народа от родственных народов, но и долго после остается наречием другого языка; потом сам дробится на наречия; каждое из этих наречий может в свою очередь образоваться в отдельный язык. Таким образом, история языка каждого отдельного народа есть только часть истории языка целых племен. В языке каждого отдельного

народа остаются следы его прежних судеб: из его состава и строя можно увидеть, в какой он поре жизни, какую часть пути прошел он и что у него впереди. Все его прошедшее, хотя бы и не связанное исключительно с судьбою его народа, как народа отдельного, есть его прошедшее. Не разумея этого прошедшего, нельзя уразуметь и того, что за ним последовало.

[Само собой разумеется, впрочем, что исследование первоначальных судеб языка какого бы то ни было народа должно быть сдержано в тех границах, в которых не может быть произвола для воображения, в которых ум исследователя не нуждается в очевидных данных и может не смешивать видимое с кажущимся. Язык, как сам народ, как всякое произведение природы, и без условий непосредственного сродства может представлять родственные черты сходства с другим языком: они любопытны, они важны для исследователя, но как данные для решения вопросов не генеалогии языков, а их природы, их естественных свойств, всем одинаково общих. Безграничность генеалогических наведений в языкознании может только мешать открытию истины; их сдержанность уменьшит, конечно, количество выводов, но более всего количество тех выводов, которые раньше или позже будут признаны неверными и не столько убеждают, сколько поражают или забавляют. Позволю себе выразиться яснее. Язык, как и народ, есть естественное произведение, удобно и правильно сравниваемое со всяким другим естественным произведением. Основные правила исследования разнообразия естественных произведений должны быть всюду общи — в языкознании, как, например, и в зоологии или в ботанике. Все испытатели природы ищут единства в разнообразии и стараются подводить его под первообразы, но зоологу не приходит в голову отыскивать решение вопроса, как, например, развились из своего общего первообраза лев, тигр, ягуар, пантера, леопард, рысь, оцелот, кошка и какой из этих родов древнее, и какой более, какой менее утратил свойства общего первообраза; так и ботанику не приходит в голову добираться до отыскания общего первообраза малины, ежевики, земляники, глога и до разъяснения судеб, по которым они сделались так отличны. Так бы, казалось, не должно было добираться и языковеду до первообраза языков той или другой отрасли, употребляя для этого в помощь их сравнение, сравнивая языки, сродные только как проявление первообраза, но не как порождение его, не как потомство одного предка. Всякий поймет, как греческий язык развился еще в древности на несколько наречий и как из него же произошел язык новогреческий, как от одного общего предка явились наречия романские, германские, славянские, но добираться тем же путем этимологии до общего предка языка немецкого и русского, финского и татарского, санскритского и славянского, сколько бы ни было в них черт сходства, едва ли можно считать делом осторожной науки. Сделаю еще сравнение: язык, как дар слова, принадлежит роду человеческому столько же, как всякое искус-

ство или как всякое знание, как, например, письменность, театр, медицина, ваяние, астрономия, и еще в своих связях с жизнью обществ, гораздо менее общее разным обществам, разным племенам, и однако дознано, что, несмотря на повсюдную распространяемость знаний, каждое из них зачиналось и развивалось много раз независимо и сходно. Почему бы не было того же в языках? Почему племена, сродные по всему, а между прочим, и по языку, отличались от других, менее сродных, а не отличались между собой по языку только потому, что сродны, а не как потомки языка одного народа? Священное предание начинает историю рода человеческого разнообразием языков; ужели отвергнуть его? Или где средства определить счетом это первоначальное разнообразие? В вопросах, мною представляемых, нет мысли отвергнуть этимологию, но дать ей безграничную свободу сравнений и выводов, внушаемых близостью языков и качеств их строя и состава, их материи и формы, едва ли законно. Нужно положить границу и тут, как полагается она на всяком пути человеческого ума к отысканию первичных начал. Нельзя, мне кажется, не уважать стремлений современного языковедения отыскать и разъяснить родственную близость языков и ее различные признаки и явления; нельзя не дорожить материалом, ими собираемым и разбираемым, но позволяю себе остаться при убеждении, что большая часть их трудов будет со временем пособием для других целей. Одна из этих целей — дознаться до оснований, по которым человеческий разум достигал сходств выражения идей звуками, то одних и тех же, то сходных, то несходных. Попытки этого рода бывали очень издавна, есть они и теперь, но направление более занимательное заставляет их забывать и дает этимологии значение, иногда не совсем ее достойное, и между тем мешающее положительности исследований исторических о каждом языке в отдельности.]

Уже вследствие определения данных относительно, так сказать, предварительного образования языка народа, можно с некоторой отчетливостью приступить к объяснению дальнейших судеб языка в зависимости от развития характера народа, его климатического и политического положения, его образованности и т. п.

Таким образом, сближая с историей каждого отдельного народа историю его языка, наблюдатель в отношении к этой последней должен иметь в виду два вопроса.

Один вопрос: что был язык народа в то время, когда народ, как часть племени, отделился сначала вместе со всем племенем своим от семьи племен, и потом, когда как отдельный народ отделился от других народов своего племени?

Другой вопрос: как постепенно изменялся язык в народе, применяясь к его особенному положению, к его личной народности, к успехам его образованности, внешней и внутренней, как сохранял и распространял ее?

Оба вопроса суть только две половины одной и той же задачи.

[При ее решении надобно обратить внимание: 1) на строй и на состав языка и 2) на его изменения в отношении к его естественной изменяемости и к обстоятельствам внешним, которые имели влияние на его изменения в народе и литературе.

В истории языка, как и во всякой истории, должно отличать явления случайные, одновременные, остающиеся без всяких или по крайней мере без важных последствий, от явлений, свивающихся как волокна в одну нить. Следить за первыми часто нет ни нужды, ни даже возможности, но тем более нужно отличать значение вторых. К числу первых принадлежат временные прихоти моды, высшего общества, прихоти писателей и т. п. Безграмотный переводчик употребил то или другое слово или выражение, ту или другую форму словообразования или словосочетания; по случаю его перевод остался одним из памятников языка, важных по древности; плоды его безграмотности — факты ли они истории языка? Часть общества, которому дела нет до стройности языка, пустила на время в ход несколько слов и поговорок, обезображивающих язык, и помыкала ими, пока не наскучило; ужели это факты истории языка? Порывы ложного патриотизма или космополитизма, побуждавшие того или другого писателя искусственно поддерживать чистоту языка или искусственно наводнять его чужим добром, порывы без следствий; стоит ли их считать фактами, замечательными в истории языка? В общем ходе судеб языка не все то важно, что касалось языка не всего народа, а той или другой его частички. Нельзя отвергать важность влияния высших классов общества на писателей, но нельзя быть опрометчивым и легкомысленным в определении степени его силы и позволять себе выводы для этого из фактов всякой ценности без разбора. Во всяком случае судьбы языка в народе и судьбы его в письменности и в высшем классе общества должно рассматривать как бы отдельные предметы, взаимно зависящие, но зависящие различно; судьбы языка в народе зависят от письменности и высшей образованности в частностях, в мелочах; судьбы языка литературы и высшего класса зависят от народа в общем ходе их. Ограничивать всю историю языка в круге одной из этих двух ее частей невозможно или, по крайней мере, не должно. Рассматривая же обе во взаимном их соотношении, нельзя будет не увидеть, как явление, постоянно продолжающееся, — борение двух противоположных стремлений отстать от старины как от пошлости и удержать старину как святыню. Как явление не перестающее, оно может быть наблюдаемо всегда, теперь, как и прежде. Чтобы понять его, довольно наблюдений одного момента времени, а понявши помощью этих наблюдений, не трудно приложить их ко всем временам. Сообразите требования одного лица относительно чистоты, правильности и изящества языка — и наблюдение сделано, верная точка для направления наблюдений всех времен отыскана: один и тот же скажет, что старинное соедине-

ние прошедшего причастия на *въ, вши* с временем настоящим или прошедшим вспомогательного глагола (я еще не уставши, мы были еще не ужинавши) — пошлость; что ненарушение старины в несклонении слов иностранных или вообще в оставлении их в их иностранной форме (он не носит пальта; вы не увидите Мария) — пошлость; что несоблюдение старины в неизменении *есть* для всех лиц и чисел — грубость, невежество; что несоблюдение родов в именах прилагательных множ. (смиренныи вороныи) — невежество, безграмотность. Из таких примеров состоит весь язык. Старину гонят, мертвят, а она все еще живет; ее удерживают мертвую, показывают как живую, а она пред всеми глазами рассыпается в прах, а люди продолжают уверять себя и других, что это только так кажется. Кому должен тут верить беспристрастный наблюдатель? Отгадать не трудно, как не трудно поверить, что „сильнейшему сила, умершему покой".

А между тем этим борением, постоянными уступками старины новизне обозначается общий ход изменений языка. Считай прошедшим то, что удерживается силой, искусственно; считай будущим то, что все более пробивается в жизни языка, хоть иногда частностями, по мелочам.

Но было бы странно ограничивать взгляд на судьбу языка кругом наблюдений форм языка и слов, его составляющих, без отношения к словесности: с л о г и язык, с л о в е с н а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь и язык...

Как применить этот общий взгляд на историю языка к истории русского языка? Я думаю, об этом говорить не к чему много. Границы времени — между столетиями IX и XIX; границы пространства — соседи Русской земли; границы сравнений и объяснений — в однородстве всех славянских наречий, как наречий одного языка, и во влиянии языков соседей близких и дальних. Границы наведений — в родственном сходстве языков индоевропейских, преимущественно европейских. Точка исхода наблюдений: чем был русский язык, когда он отделился от других наречий славянских как отдельное наречие? Цель, ход: каким путем достиг он современного состояния в народе и в книге?

Говорить ли о важности истории русского языка, так понимаемой? В отношении этнографическом она пособие для объяснения судеб быта народа. В отношении литературном она указатель хода литературы...]

Нашей русской науке принадлежит решение этой задачи в отношении к языку русскому.

III

Народ русский есть один из народов племени славянского, племени, которое вместе с племенами литовским, кельтским, германским, греко-романским, иранским, индийским принадлежит к

одной семье народов, к отрасли индоевропейской. Хотя издавна разделилась эта отрасль на много племен и народов, хотя, издавна расселяясь почти по всему пространству земной суши, ветвями своими сроднялась она узами кровного родства с народами других отраслей, до сих пор, однако, удержала все главные черты своего древнего единства. Все языки народов этой отрасли, отличаясь от всех других, поразительно сходны между собою и по составу и по строю; все они — только разнообразные видоизменения одного языка. Первоначальный ход их развития принадлежит всем им сообща. Каждое племя, отделяясь от других племен, и каждый народ, отделяясь от других народов соплеменных, только продолжали изменение языка, уже начатое, — одни скорее, другие медленнее, одни так, другие иначе, но по одному и тому же направлению. Так и начало русского языка теряется в глубине веков давнопрошедших, и его собственная, так сказать, личная история, как языка исключительно русского народа, есть только продолжение истории языка племени славянского, а эта — продолжение истории языка всей отрасли индоевропейской.

Итак в истории русского языка прежде всего должен быть решен вопрос: что был язык русский в то время, когда он только что отделился — прежде как местная доля языка, общего всем славянам, от языков других племен индоевропейских, а потом как одно из наречий славянских, от других наречий своего племени? Что был он тогда по своему строю и составу, т. е. в какой поре развития был он по своим формам и что выражал своими словами, как символами понятий и нравов, быта и обычаев народа?

Сколько филологи, столько же и историки могут оценить важность этого вопроса. Для изучения событий времен позднейших есть у историков много различных материалов, есть летописи, записки современников, памятники юридические, памятники литературы, науки, искусств, живые предания народа. От первого же времени жизни нашего народа не сохранилось почти ничего подобного, и первые страницы нашей истории остаются ненаписанными. Они и останутся белыми до тех пор, пока не примет в этом участия филология. Она одна может написать их. Пусть она и не скажет ничего о лицах действующих, пусть обойдется в своем рассказе и без собственных имен; безо всего этого она будет в состоянии рассказать многое и обо многом. Она передаст быль первоначальной жизни народа, его нравов и обычаев, его внутренней связи и связей с другими народами теми самыми словами, которыми выражал ее сам народ, передаст тем вернее и подробнее, чем глубже проникнет в смысл языка, в его соотношении с народной жизнью, и проникнет тем глубже, чем большими средствами будет пользоваться при сравнении языков и наречий сродных. Она не может отказаться от восстановления древнейшего первобытного русского языка во всем его строе и составе, со

всеми его формами и словами, если не со всеми без исключения, то по крайней мере со всеми главными. Об этом думать могут ученые не как о мечте, не как о забаве, за которою привольно отдыхать воображению, утомленному мелочными изысканиями, а как о прямом своем долге. Выполнить его окончательно, без сомнения, будет не по силам одному человеку, и не один из ученых, от недостатка силы, соображения и знания всего того, что следует сообразить, может обмануть и себя и других увлекательной неверностью своих выводов, но тернистый путь ошибок, вольных и невольных, должен привести наконец к желанной и уже видной цели, и раньше или позже филология наша, со всей отчетливой правдивостью науки, покажет, как и что выражали наши древние предки на языке своем...

Вспомогательные изыскания только что начаты ею, но начаты так разнообразно и при таком счастливом стечении обстоятельств, что и теперь можно видеть, к каким главным выводам приведут они.

Позволяя себе остановиться на главных чертах древнего первобытного русского языка, я ограничиваюсь на этот раз немногими общими замечаниями о его строе в то время, когда уже он отделился от других славянских наречий, сделавшись исключительным достоянием русского народа.

Язык русский этого времени, в отношении к своему строю, был при исходе развития своих первобытных форм, уже начав период их превращений. Это выражалось и в правильной системе звуков, и в богатом разнообразии форм словообразования и словоизменения, и в определенном различии форм словосочетания. По своему составу он был уже богат как язык народа оседлого, земледельческого и до некоторой степени промышленного, народа с развитыми понятиями о быте семейном и общинном, приготовленного к соединению в одно целое, народа с разнообразными понятиями о природе и человеке и с верованиями, хотя и закрытыми пеленой суеверий, но оживленными мыслию о едином боге и бессмертии духа. Внутреннюю силу языка, а вместе с тем и народа доказывает, между прочим, то, что другие славяне, жившие вместе с русскими, каковы были, кроме других, переселенцы польские, роду ляшского, радимичи и вятичи, поселясь между русскими, хотя и сохраняли некоторое время свою независимость, но под конец должны были отказаться от нее, а вместе с тем и от особенностей своего говора и, перенявши от русских их язык, не передали своего русским: на память от них осталось только несколько слов, между которыми поместить надобно, может быть, и предлог *вы*, который в польском и других северо-западных наречиях славянских так же незаменим, как в юго-западных предлог *из*, одинаково распространенный и в русском.

Вникая в подробности строя древнего русского языка, не можем не заметить в нем черт, дающих ему право на особенное внимание филологии.

Между звуками гласными отличались резко широкие и тонкие, чистые или полные и глухие. Защищая мнение, что гласных глухих (ъ и ь) не было никогда в языке русском, не было как настоящих гласных, а не знаков, показывающих значение предыдущих согласных, едва ли можно его подтвердить какими-нибудь основательными доказательствами. Доказательства же мнения противного представляются не только в памятниках русских, но и в других славянских наречиях. [Они есть и были и в других языках. Гласные глухие относятся к гласным чистым, как краткие к долгим.]

В памятниках русских даже позднейшего времени, например, XIII—XIV веков, они стоят часто так правильно на местах своих, что не может быть никакого сомнения, что употреблявшие их понимали особенность их значения. В других славянских наречиях, например в болгарском, сербском, хорутанском, словацком, чешском, они придают особенный характер звучности даже и до сих пор. Нельзя никак, с другой стороны, допустить предположения, что глухие гласные звуки не были древней, коренной принадлежностью звучности языка всех славян, а явились уже вследствие изменения его строя. Такое предположение опровергается тем, что, присматриваясь к правильности соответствия гласных глухих с гласными чистыми, в каждом из наречий славянских, отдельно и во всех вместе, нельзя не видеть, что не глухие произошли из чистых, а чистые из глухих и что от этого один и тот же глухой звук изменялся, сообразно с местными требованиями звучности, в различные чистые; например, вместо древнего *тръгъ* стали говорить *торг*, *тарг*, *терг*, вместо *србпъ* — *сјерп*, *серп*, *сарп*, вместо *длъгъ* — *долг*, *доуг*, *дуг*, *длуг*, вместо *влъкъ* — *волк*, *воук*, *вук*, *вильк*, вместо *дьнь* — *дјен*, *ден*, *дан*, *дзјень*, *джјень* и пр.

Не во всех славянских наречиях одинаково употребление гласных глухих по времени уменьшалось: некоторые наречия, например, болгарское и хорутанское, хотя и выказали до некоторой степени стремление заменять глухие чистыми, но, с другой стороны, еще более выказали стремление противоположное — заменять гласные чистые глухими; впрочем, это пристрастие к гласным глухим нельзя не рассматривать как явление местное и позднейшее, не доказывающее нимало новости происхождения глухих звуков.

[Может быть, глухие гласные звуки и не всегда были в языке славянском глухими, но это, кажется, трудно доказать фактами славянского языка, а тем менее русского. Сравнивая с сродными языками, ъ уравнивается часто с *у* и *о*, а ь с *и* и *е*: этим ясно доказывается только то, что ъ и ь сохранили правильно свои места — ъ в слогах твердых, а ь в мягких.]

Что касается до гласных носовых (ѫ и ѧ), то, хотя их выговор и утратился, вероятно, с самого начала отделения русского языка от других славянских наречий, но сознание их коренного

значения, отличного от значения тех гласных чистых (*у* и *а*), звуки которых они приняли, оставалось еще долго: и в новом своем виде они сохранили свою характеристическую особенность превращаться в согласные *м* и *н* (например, *дути — дъму*, *жати — жьну*). К числу особенностей древней звучности русского языка нельзя не причислить стремления к перемене коренного *е* в *о* в начале слов (*одинъ*, *осетьръ*, *олень* и пр.), к перемене *ѣ* и *а* после *р* и *л*, при соединении с другой согласной, в два *о* или два *е* (*берегъ*, *серебро*, *молоко*, *молоти*, *ворогъ*, *норовъ*, *голова*, *золото* и пр.).

Как быстро проникло в язык это стремление, решить трудно; можно, впрочем, думать, что хотя оно и обнаружилось с решительною силой при начале отделения русского языка от других наречий, однако, не разом разошлось по всему составу языка и потому-то могло не тронуть некоторых корней, оставивши их при прежнем, общем славянском их произношении (*блѣдьнъ*, *плѣсти*, *плѣшь*, *слѣпъ*, *слѣдъ*, *хлѣбъ*, *хлѣвъ*, *брѣдъ*, *брѣсти*, *грѣхъ*, *дрѣмати*, *крѣпъкъ*, *стрѣла*, *стрѣмя*, *трѣпати*, *трѣбуха*, *хрѣнъ*, *класти*, *платъ*, *плакати*, *грань*, *гладъкъ*, *красти*, *страхъ*, *трава*, *трата* и пр.). Гласные звуки долгие и короткие не смешивались одни с другими, оттеняя смысл речи, те и другие отдельно, по-своему, и долгота гласного звука отличалась от ударения, с которым смешалась впоследствии: это можно заключать отчасти по тем примерам удвоения гласных, которые встречаются в памятниках даже позднейшего времени, отчасти по самому нынешнему выговору простого народа, в котором в некоторых местах довольно строго наблюдается различие между долготой ударения и долготой без ударения, всего же более по сравнению славянских наречий в их прежнем, древнем виде и в нынешнем[1]. Звуки согласные, соподчиняясь с гласными, удерживали правильно свою твердость и столь же правильно смягчались. Древняя, переходная смягчаемость (*г* в *ж* и *з*, *к* в *ч* и *ц*, *х* в *ш* и *с*, *д* в *ж*, *т* в *ч*, *з* в *ж*, *ц* в *ч*, *с* в *ш* и т. д.) не была смешиваема со смягчаемостью непосредственною (*ръ* в *рь*, *лъ* в *ль*, *дъ* в *дь*, *съ* в *сь* и т. п.); последняя, не заменяя первой, не распространялась вне своих коренных пределов: от этого *г*, *к*, *х* не могли, при соединении с *ы*, изменять *ы* в *и*

[1 Здесь же место вниманию к *ъ* и *ь*, как к гласным кратким, противоположным с долгими.

ъ = *о*, ꙑ: з'вати, зовъ, призывати; н'рѣти, нора, ныряти; сълати, солъ, сылати.

ъ = ꙑ, ȣ, ѫ: глъбъкъ, глꙑба, глѫбина; гъбнѫти, гꙑбнѫти, гȣбити. дъхнѫти, дыхати, дȣхъ, дѫти; нърѣти, нырꙑти, нȣрити; ръдѣти, рыжь, рȣдо.

ъ = *а*: влъна, влати; влъгъкъ, влага.

ь = *е*, *и*: б'рати, берȣ, забирити; сь, сеи, сикъ.

ь = *и*, *ѣ*, (ять), ѧ: в'рѣти, вирати, виръ; ж'дати, жидати; съньмъ, имȣ; ньзȣ, низати; врьгȣ, врѣчи; гльбнȣти, глѣбати; сльпнȣти, слѣпити; жрьдь, грѧда.

ь = *а*: жьрѣти, жарити; мрьзнȣти, мразъ; смрьдѣти, смрадъ].

и пр.[1]. Многие из условий этой древней правильности теперь уже утрачены, но не все и не везде, более всего в склонении, и эти остатки вместе с данными, представляющимися в памятниках письменности русской, и в других наречиях славянских, достаточно убеждают, что подвижность согласных звуков была в древнем русском языке столь же сильна, как и в старославянском, и в большой части случаев одна и та же.

[Можем ли мы проникнуть в древний выговор русский? Можем при помощи сравнительного изучения народных местных наречий, хотя бы даже и нашего времени, имея при этом в виду и другие славянские наречия. Возьмем один пример, один из тех, которые касаются самых важных черт выговора: отделение слогов твердых и мягких теперь всюду смешалось. Великорус. *е* и *и* требуют постоянного смягчения, а в малорос. почти постоянно тверды. Так, мр. землёю = вр. землёю = др. землѥю; мр. отця = вр. отца = др. отця; мр. днэвати или днёвати = вр. днѥвать = др. днѥвати; мр. дневатъи = вр. днѥватьи, но *ти* в соединении с *ж*, *ч* изменяется в *ч*, след. *ти* — мягкий слог: след. = древ. тьи (поль. ći); вр. кое-где на конце глагольных окончаний *тъ*, в других краях ть = мр. ть = бр. ць = поль. ць = дрв. ть (будеть, ходять).]

Подчиняясь условиям выражения оттенков понятий, корни древнего русского языка и сами по себе видоизменялись, и легко принимали многообразные формы словообразования и словоизменения. Так, между прочим, в именах существительных и прилагательных, в причастиях и местоимениях строго соблюдались и закон наращения, и закон определяемости: слова наращаемые и определенные разнились в образовании и в изменениях своих от ненаращаемых и неопределенных. С существительными мужского и женского рода на *ы* (*рѣмы*, *любы*), мужского и среднего на *а* — ꙗ (старослав. ѧ, напр. *рамѧ*, *сѣмѧ*, *телѧ*), среднего на *о* (напр., *тѣло*, *небо*), женского на *и* (*мати*, *дъчи*), принимавшими наращение в косвенных падежах, были в соответствии наращаемые прилагательные сравнительной степени мужского рода (*свꙗтѣи*, *болѥ*) и причастия (*веды* — *веда*, *велꙗ* = старослав. *велѧ*), принимавшие наращение и в косвенных падежах мужского рода, и во всех падежах женского и среднего (имен. жен. *будучи*, *велꙗчи*, *ведъши*, имен. сред. *будуче*, *велꙗче*, *ведъше*). Прилагательные и причастия неопределенные удерживали склонение существительное (*чистъ*, *чиста*, *чисту*, *чистомь*, *чистѣ* — *веды*, *ведуча*, *ведучу* и пр.), между тем как определенные имели свое

[[1] Соотношение между *д* и *жд*, *т* и *шт* представляет в наречиях русских особенные обстоятельства:

1) *т* и *д*, смягчаясь сами по себе, делаются *ш* и *дж* (=*ж*); *дж* сохранилось в южнорусском: *вожджь*, *дождж*ь (=*жч*).

2) *т*, соединяясь с *ж*, *ц*, *ч*, превращается в *ч*: *беречь* = *берегти́*, *сѣчь* = *сѣк'ти*, *сѣчься* = *сѣктися* (однако *дрожджи*).

3) *т*, соединяясь с *с*, превращается в *щ*: *роща*, *овощь*.]

особенное (*чистыи*, *чистааго*, *чистуўму*, *чистыимь*, *чистѣемь*, — *ведыи*, *ведучааго* и пр.), а местоимения свое отдельное (*тъ*, *того*, *тому*, *тѣмь*, *томь* и пр.). Резко отличались три рода и три числа и хотя не все три принимали особенные окончания для каждого из семи падежей склонения, но три главные падежа даже в двойственном числе были различны. В глаголах отделялись правильно три вида, три залога, три наклонения, три времени, три лица, три числа. Наклонение неопределенное не потеряло еще своей изменяемости и употреблялось в двух особенных формах: прямой и достигательной (на *и* и на *ъ* или *ь*: *нести* — *нестъ*, *печи* — *печь*). Время настоящее простое употреблялось и в значении будущего, как и во всех славянских наречиях[1], но зато сохранялось два прошедших простых: совершенное и преходящее (на *хъ* и на *ахъ*: *велѣхъ* и *велѣахъ*), притом время прошедшее совершенное выражалось двумя отдельными формами (напр. *обрѣхъ*, *рѣхъ*, — *обрѣтохъ*, *рекохъ*). Времена сложные были очень разнообразны не только для оттенения понятий залога страдательного, но также и для действительного и среднего, особенно для выражения условности и соотношения действий (напр., *видѧи ѥсмь*, *видѧи бѣхъ*, *видѣлъ ѥсмь*, *видѣлъ бѣхъ*, *видѣлъ бывъ*, *видѣлъ буду*, *видѣти буду*, *видѣти хочу*, *видѣти имамь* и пр.) и для безличных форм (напр., *бѣ видѣти*). Особенными окончаниями отделялись лица: между прочим, 3-е лицо всегда почти удерживало при себе местоименное окончание *т* (напр., *виѥть*, *виѥта*, *виють* — *вить*, *виста*, *виша*(*ть*) — *вишѧшеть*, *вишѧста*, *вишѧхуть*)[2].

Богатство, разнообразие и определенность словоизменения отражались в складе речи богатством, разнообразием и определенностью форм словосочетания. Для каждого из трех главных сочетаний слов — прямого, вопросительного и относительного — были свои отдельные условия расположения слов. Многообразию форм словосочетания помогали, между прочим, времена сложные, формы возвратного глагола вместо страдательных (напр., *слышиться* вместо *слышимъ ѥсть*), дательный самостоятельный причастный (напр., *дьню бывъшю*, *грозѣ будучи*), винительный причаст-

---

[[1] Шафарик (Čas. Čes. Mus. 1847. 167 и след.) предположил, что была и особенная форма будущего: измишѫ (tabescam) от мити, минѫти, обрьснѫ (tondam) — от брити, tondere, пласнѫ (ardebo) будто бы от плати. Впрочем примеров найдено мало, и те еще ничего положительно не доказывают: обрьснѫ съ обрьснѫти (ср. брисати), пласнѫ съ пласнѫти суть глаголы вида совершенного, для которого настоящее есть будущее.

Миклошичь (Formenlehre 73) прибавляет: измишѫ (tabescam), от ми, въскопыснѫ (calcitrabo) от коп, тъкыснѫ (tangam) от тък, бѣгаснѫ (curso) от бѣг.]

[[2] *ть* в 3-м лице прош. сов.: Изверже его изъ землѣ Ростовьскы, отъиметь отъ него умъ (Лавр. л. 1169 г.). Так же читать, кажется, надобно: Изъ негоже озера (Ильмеря) потечеть Волховъ и вътечеть... внидеть...

Възяша градъ Кыѥвъ ... а кого доидеть рука, цьрньця ли цьрницѣ ли, попъ ли, попадье ли, а ты ведоша въ поганыѩ (Новг. 1 л. 1203 г.) Изыма дворяне и посадника оковаша, а товары ихъ кого рука доидеть (т. ж. 1210 г.).]

ный (напр., *мьнышать юго умрьша*), самостоятельное неопределенное наклонение в смысле повелительном и условном (напр., *дати юму* вместо *даи юму, дати юму не даи и говорити не говори*). Особенную определенность выражениям придавало употребление падежей, из которых ни один не требовал перед собою предлога непременно, а между тем каждый мог с ним соединяться; понятие принадлежности выражалось родительным и дательным (*рабъ, господа, кънязь Кыюву*), орудие — родительным, дательным, творительным (*плънъ духа, быстъ чуду, кльнеться небомъ*), время — винительным, творительным, предложным (*зимусь, зимою, зимѣ*), место — дательным и предложным (*идеть Кыюву, — быстъ Кыювѣ*) и пр.

Если сравнить древний русский язык, в отношении к строю, с другими славянскими наречиями в их древнем виде, то нельзя не заметить, что он в первобытном своем состоянии ближе всего подходил к наречию старославянскому и вместе с ним всего более сохранял черты первообразного общего славянского строя. Он даже превосходил его до некоторой степени в этом отношении: уступал ему, а вместе с ним хорутанскому и польскому в отличении гласных носовых, но вернее сохранял непосредственное смягчение согласных (*р, л, с* и других), употребление местоименного окончания *ть* для означения третьего лица в спряжении и т. д.

Почти все выводы о строе древнего языка русского не иначе возможны, как на основании наблюдений над памятниками X—XIV веков и еще более поздними памятниками, в которых язык представляется уже в большей или меньшей степени уклонившимся от первоначального своего положения и которые притом отпечатлели на себе (одни менее, другие более) черты влияния языка старославянского, а чрез него и греческого. Не должно забывать при этом, что некоторые из них писаны людьми не русскими, даже не славянами, людьми, которые худо знали по-русски, худо понимали требования языка славянского, мало заботились о том, как бы избегать ошибок в своих выражениях. В таких памятниках нельзя пользоваться одинаково всем для определения особенностей языка даже и того времени, когда они писаны, не только времени прежнего и еще более от нас отдаленного. Тем не менее странно было бы отвергать возможность ими пользоваться, и все выводы из них о древнем русском языке считать сомнительными. Русских памятников X—XIV веков, даже не прилагая к ним более поздних, довольно для того, чтобы правильно судить о языке русском этого времени, отличать в них элемент старославянский от чисто русского, не смешивать описок вольных и невольных с тем, что правильно, и при сличении элементов одного с другим видеть, что, несмотря на их отличия, было между ними и много общего, гораздо более общего, чем между языком старославянским и нынешним языком русским. Отделивши из языка этих памятников все то, что не могло принадлежать языку русскому,

и попалось в них или по влиянию старославянского, или по ошибке, не трудно будет заметить, что русский язык X—XIV веков, точно так же, как и другие славянские наречия этого времени, был в состоянии переходном. Древнее мешалось в нем с новым; формы древние и новые употреблялись безразлично, новые формы как выражение того направления, которое язык должен был принять впоследствии, а древние как голос еще не умершего прошедшего. Отличать древние формы от новых также не трудно, если только не опускать из виду общего хода изменения языка, понимать ход изменений других родственных языков и наречий и, не отказываясь от сравнений всего, что может и должно быть сравниваемо, помощью методы сравнительной присматриваться в памятниках к тем отрывочным остаткам древности, которые, как ни кажутся незначительны каждый в отдельности, сближенные между собой, почти всегда очень важны для объяснения условий характера древнего языка. Если же только древние формы языка отличены от новых и поняты общие качества языка, оставшиеся в нем, несмотря на все изменения, неизменными, то остается их систематизировать; если весь труд веден с должной осторожностью, то и общие выводы наблюдателя о древнем языке не могут подлежать сомнению. Наблюдатель может, без сомнения, наделать в выводах ошибок своей невнимательностью при разборе фактов, своим незнанием того, что должно знать, слабостью соображения, но это его личная вина, которую поправят другие, а не вина методы, им употребленной для решения вопроса. Всего более может мешать уверенность, при которой позволяют себе оставаться многие, что язык русский при переходе от древнего своего состояния к новому изменялся в словах и слоге более, чем в формах, и что в старых памятниках наших формы языка, отличные от нынешних, чуть ли не все взяты книжниками из старославянского, а в народе никогда не были. При такой уверенности невозможно дойти до уразумения русского языка не только в его древнейшем первобытном виде, но и в каждом из тех периодов, которые пережил язык русский после. Сравнительное изучение славянских наречий, подкрепленное разумением сходства и сродства в характеристических чертах и в изменениях языков индоевропейских вообще, одно может победить эту неосновательную уверенность и помочь глядеть на прошедшие судьбы русского языка не как на призрак воображения. Особенно поучительны для русского филолога памятники чешские и сербские XIII—XIV веков, как памятники наречий, до сих пор живущих и уже однако во многом против прежнего изменившихся; из них ясно видно, что значит смешение форм древних и новых и постепенное угасание первых. Сравните формы этих памятников с формами памятников позднейших и увидите, как наконец многие древние формы совершенно угасли и как вследствие этого язык получил новый вид, хотя большая часть слов и осталась та же, а в произведениях переводных,

например в книгах св. Писания, остался тот же и слог. Такое переходное состояние было и в языке русском и, кажется, в то же время, как и в западных наречиях славянских — в XIII—XIV веках. Чем более будут изучаемы памятники русские этого времени и прежнего, тем яснее будет понят язык русский в его древнейшем состоянии.

IV

Другой вопрос истории русского языка: как язык русский изменялся с тех пор, как народ русский занял свое отдельное место между народами Европы? Каким путем достиг своего нынешнего положения под влиянием своебытной деятельности духа русского народа и под влиянием обстоятельств внешних?

Желая остановиться на некоторых подробностях этого вопроса, позволяю себе предварительно сказать несколько слов об изменении границ русского языка и о необходимости рассматривать в истории русского языка отдельно язык народа и язык книжный.

Границы русского языка изменялись постепенно. Не те они были в древности, что ныне. С одной стороны, они раздвигались все далее на востоке; с другой — отодвинулись от запада к востоку.

Граница пространства, которое занимали славяне русские издревле, сколько можно судить по соображению отрывочных данных, на севере шла по украине бассейна северных Чудских озер, так что в ней были берега Пейпуса и Волхова, озера Ладожского; на востоке по Тверце она спускалась к Волге, а по Москве-реке — к Оке, потом от истоков Дона вниз по Дону к Сосне, мимо вершин Оскола к Донцу и по Орели к Днепру и степям; на юге, касаясь этих диких полей, тянулась она к устью Буга, а за Бугом по Черноморскому побережью к устью Дуная; на западе от Дуная поднималась она по Серету к Бескидам, перегибалась по южным скатам хребта их к верховьям вод Тиссы и по северным скатам к верхнему Дунайцу, далее через восточные верховья водоската Вислы к среднему Немню и через Вилью и Двину к озерам. Тут на северо-западе славяне русские соседили с народом литовским и с поморскими колониями корсаров балтийских; на севере и северо-востоке — с Чудью; на востоке и юго-востоке — с народами турецко-татарской крови; на юге — отчасти с ними же, отчасти с поселениями греков и румунов; на западе примыкали к соплеменникам своим, славянам западным. Нельзя сказать, чтобы в этих границах все народонаселение было исключительно русское: колонии чужеродцев не только у границ, но кое-где и в середине земель были, может быть, и довольно значительны; равным образом были и колонии западных славян, подобные поселениям радимичей и вятичей, происходивших из ляшского рода.

Тем не менее главная масса была русская, которой части отличались более местными нравами, обычаями, степенью образованности, чем строем и составом языка. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы только в этих границах и был заключен весь народ русский; его колонии издревле выходили из этих границ и на востоке и на западе. К таким колониям русским на востоке должно, кажется, причислить славянское народонаселение Болгарского Поволжья и Черноморья Тмутараканского. На западе колонии русские были и в землях литовских и в польских, и между словаками в горах Карпатских, и в Венгрии, Трансильвании, Валахии, и в Болгарии, Фракии, Македонии, Албании, Элладе. Впрочем на западе не только не удержались эти колонии, но и пограничные части народа русского, смешиваясь с народонаселением нерусским, отодвигали (в продолжение периода уделов) народную границу русскую на восток и на север. Сильно было и влияние литовцев, венгров, поляков, румунов, и влияние степных ордынцев. Уже после периода уделов и еще более с XVI—XVII веков границы языка русского на западе, преимущественно на юго-западе, стали опять раздвигаться и, наконец, дошли до берегов Черного моря и Дуная. На северо-востоке и юго-востоке, хотя некоторые колонии и были в древнее время задавлены наплывом чужеродцев, но зато позже новые колонии промышленников русских все более увеличивались, все более стесняли жилья прежних обитателей, распространяли между ними знание русского языка взамен их природного, достигли морей Белого и Каспийского и хребта Урала, и потом перешли в Азию. История довольно подробно написала на своих страницах это и дальнейшее распространение русского языка вместе с ходом развития политического могущества России. И кому не известно, как то, что делалось прежде бессознательно торговым духом купцов новгородских и воинским духом ватаг казацких, получило новый характер, силу и прочность с тех пор, как расселением русских и распространением русского языка на востоке стало управлять правительство русское, употребляя русский язык как орудие просвещения и образованности. Нельзя при этом не заметить, что, несмотря на разнородные сближения русского языка с иноплеменными, в очень немногих пограничных краях образовались те смешанные говоры, в которых оба языка смешивающиеся одинаково тратят самостоятельность своего строя. Несравненно более примеров тому, что и русские переселенцы при сближении с инородцами, и инородцы, сближавшиеся с русскими, только обогащали свой природный язык словами для выражения понятий и предметов, прежде для них чуждых, и что за этим следовало почти постоянно то, что инородцы принимали русский язык, только применяя его к своему выговору.

Как бы то ни было, история русского языка, следя за географическим изменением его пространства, при обозрении его изменений, не может не отделять языка собственно народного от языка книг и людей, образуемых книгами.

История многих народов Запада и Востока представляет разительные примеры силы обстоятельств, заставлявших веру, закон, науку и искусство чуждаться общенародности выражения своих положений, узаконять для себя язык, совершенно непонятный народу, и книгу, существующую для жизни, оставаться хоть и подле, но вне народной жизни. Так было на востоке браминском, буддийском, магометанском; так было и на латинском западе, где следы этого остаются еще и до сих пор. У нас было не так. Русский народ, сколько ни испытывал волнений в быте политическом, всегда, однако, твердо удерживал свою самобытность, никогда не поддавался насильственному господству других народов, никогда не подчинял своего языка игу других языков, никогда не был принужден признавать языка, чужого своему смыслу, орудием веры, закона и литературы. В христианстве православном, прежде чем русский народ сделался его причастником, уже поднят был вопрос о выражении его вечно живых истин живым народным словом. Вероятно, не слишком долго спустя после готфов и славяне стали пытаться передавать на своем языке места из книг св. Писания и молитвы. Славяне юго-западные могли начать эти попытки в VI—VII веках, славяне северо-западные и восточные — в IX. О русском переводчике евангелия и псалтыря сохранилось предание, как о современнике первоучителей славянских, братьев Константина и Мефодия, совершившем свой подвиг прежде, чем начали свой подвиг для славян эти святые братья; чешские глоссы к латинскому тексту евангелия Иоанна также современны Константину и Мефодию. Подобные попытки славян переводить слово веры на свой язык не могли не содействовать водворению мысли о народности богослужения, так удачно защищенной братьями-первоучителями перед своими латинскими противниками, и когда русский народ обратился к христианству, он нашел уже все книги, необходимые для богослужения и для поучения в вере, на наречии, отличавшемся от его народного наречия очень немногим. Книги эти послужили основанием письменности русской: она пошла по пути, указанному ими, удерживая постоянно в близком сродстве язык свой с языком народа.

Несмотря, впрочем, на то, что многое, по-видимому, содействовало постоянной близости книг и народа, в языке русском постепенно отделились один от другого, как два наречия, язык книжный и язык простонародный. Главная причина этого отделения заключалась в необходимой неподвижности языка, освященного церковью; каким бы изменениям ни должен был подвергнуться язык народа, язык книг богослужебных должен был оставаться тем же самым, чем был сначала; сам народ, чем более креп в вере и благочестии, тем более почитал этот язык и, сохраняя его особенности, сколько мог понимать их, нарушал их в пользу своего народного только бессознательно. Скорее могли быть допущены в этот священный язык заимствования из чужих языков, не нарушавшие важности его, чем заимствования из языка

обыденного, более богатого жизнью, но зато и более связанного с мелочами жизни. Наука, оставаясь под покровом веры, также должна была держаться языка принятого верой, и по мере как нуждалась в выражении своих положений, развивала этот язык, не заботясь о том, что тем удаляла его все более от языка народного. А между тем вследствие связей с западом влияние иноземное на вкус и понятия высших классов вообще и особенно людей, в руках которых была письменность, возрастало все более и все сильнее отражалось на языке книг и образованного общества; язык этот умножал свой состав массами слов, более чуждыми для народа по звукам и значению, чем самые понятия, которые выражаемы были ими, а вслед за словами принимал в себя и обороты и формы общего склада речи, столько же чуждые обычаю народному. С другой стороны, язык народный сам подчинялся обстоятельствам, удалявшим его от прежней близости с языком книг. Подчиненный внутреннему закону изменяемости, он шел все далее по пути изменений в своем составе и строе. Влияние тех народов, с которыми вступал он в связи в разных краях своего пространства, отражалось на нем так же сильно и разнообразно, как влияние чуженародной образованности на языке книжном. Причины внутренние и внешние дробили язык народа на местные говоры и наречия. Так с течением времени должны были язык книг и язык народа отделиться один от другого довольно резкими особенностями; и только вследствие иных благоприятных причин могли они опять сблизиться хотя до некоторой степени в одно целое. Таким образом история русского языка представляется связью нескольких историй отдельных, и две главные из них — история языка простонародного и история языка книжного, литературного. На ту и на другую филолог должен обращать внимание отдельно, и так как жизнь языка в книге возможна только потому, что есть или была жизнь языка в народе, то историю народного языка он должен изучить прежде и даже более, чем историю книжного.

V

Доказывая, что народный язык русский теперь уже далеко не тот, что был в древности, довольно обратить внимание на его местные оттенки, на наречия и говоры, в которых его строй и состав представляются в таком многообразном развитии, какое, конечно, никто не станет предполагать возможным для языка древнего, точно так же, как никто не станет защищать, что и наречия славянские и все сродные языки Европы всегда различались одни от других настолько, насколько различаются теперь. Давни, но не исконны черты, отделяющие одно от другого наречия северное и южное — великорусское и малорусское; не столь уже давни черты, разрознившие на севере наречия восточное — собственно великорусское и западное — белорусское, а на юге наре-

чие восточное — собственно малорусское и западное — русинское, карпатское; еще новее черты отличия говоров местных, на которые развилось каждое из наречий русских. Конечно, все эти наречия и говоры остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа. Их несходство вовсе не так велико, как может показаться тому, кто не обращал внимания на разнообразие местных говоров в других языках и наречиях, например в языке итальянском, французском, английском, немецком, в наречии хорутанском, словацком, сербо-лужицком, польском. Очевидно, что хотя местные обстоятельства и имели свое влияние на русский язык, но сравнительно вовсе не столь резкое и сильное, как в других языках. Все это правда; тем не менее правда и то, что местные обстоятельства действовали и на изменения русского языка, что не каждое из его местных наречий и говоров одинаково сохранило то, что в нем было прежде, что всякое наречие к тому, что было прежде, прибавило свое новое, что только в нем одном и есть. У каждого наречия была своя собственная судьба, более или менее отличная от судьбы других. Каждое наречие отличалось от других не только особенными словами и выражениями, но и формами образования, изменения и сочетания слов, более всего, впрочем, выговором, и каждый говор от других близких почти исключительно одним выговором.

Наречие великорусское отделилось от малорусского более всего необходимой смягчаемостью согласных при их слиянии с гласными тонкими и неудержанием коренного выговора гласных, не определяемых ударением. Вследствие необходимости смягчать согласные перед гласными тонкими буквы *г, к, х* потеряли свое природное свойство оставаться постоянно твердыми: *ы* после них стало невозможно. Вследствие неудержания коренного выговора гласных, на которых нет силы ударения, *е* без ударения выговаривается то как *а*, то как *и*, в обоих случаях удерживая перед собою согласную мягкую, *о* без ударения выговаривается во многих местах как *а*, а в некоторых случаях даже как *у*. К этому прибавить еще должно, что смягчаемость согласных, переходная при изменении слов, во многих случаях и во многих местах пропала там, где бы ее можно было ожидать (*рѣкѣ* вместо *рѣцѣ*, *роги* вместо *рози*, *бѣгить* вместо *бѣжить* и т. п.). Вместе с тем она появилась там, где прежде выговор народный мог обойтись и без нее: хотя и не на всем пространстве наречия, однако во многих местах вместо *дь* и *ть* стали выговаривать *дзь* и *ць* (*говорицъ* вместо *говоритъ, радзѣць* вместо *радѣть* и т. п.). Это „цвяканье“, как обыкновенно говорится в народе, считают исключительно особенностью говора белорусского, и столь важной, что по одной ей дали говору белорусскому название особенного наречия, вследствие чего и делят народный русский язык на три главных наречия, а не на два. Но „цвяканье“ можно слышать не в одних западных краях великорусского наречия: на востоке,

по Оке и далее к Волге оно также в обычае и, придавая собой звучности речи какую-то резкость, отмечается народом, к нему непривычным, как что-то отвратительное или по крайней мере смешное. К этой особенности говора белорусского прибавляют в дополнение несколько других, как, например, перемешивание *у* и *в*, выговор *г* как *h* и т. п., но все это можно слышать в разных местных говорах великорусских. Вообще до сих пор не отмечено в белорусском говоре ни одной такой черты, которая бы не повторилась хотя где-нибудь в Великой Руси. Вот почему, кажется, гораздо правильнее белорусский говор считать местным говором великорусского наречия, а не отдельным наречием. В белорусском есть, конечно, много особенных слов, непонятных каждому великорусу, но и всякий другой говор богат ими.

Наречие малорусское отделилось от великорусского преимущественно сжатостью выговора согласных твердых и переходом разных гласных широких из коренного звука в другой. Вследствие сжатости выговора согласных твердых некоторые из них утратили свой полный звук; так, между прочим, *л* твердый или переходит в *у* полугласное (*говориу, поуный*) или выговаривается как западное *l*. От сжатости же согласных произошла и утрата *ы*, которое смешалось с *и* (*мило* и *мыло*, *лисъ* и *лысъ* выговариваются одинаково). Что касается до перехода гласных широких из коренного звука в другой, то в этом отношении более всего замечательна буква *о*: на востоке она переходит в *и*, смягчающее предыдущую согласную, не только коренную, но и призвучную, а на западе чаще в *у*, кое-где не смягчающее и большей частью смягчающее согласную (вместо *богъ* говорят *биг*, *буг*, (буиг) *бјуг*, вместо *отъ* — *вид*, *вуд*, *вјуд*, вместо *овца* — *вивця*, *вувця*, *вјувця* и т.п.). Переход *о* в *и* повторился еще только в одном наречии славянском, в наречии, уже исчезнувшем, славян эльбских, люнебургских. В числе важных особенностей малороссийского наречия ставят и выговор *ѣ* как *и*, но это повторяется и в говорах великорусских. Гораздо важнее то, что малорусы сохранили несравненно более, чем великороссы, переходную смягчаемость согласных (*бережи* — береги, *на рици* — на рѣкѣ, *на порози* — на порогѣ и т. п.), не переменили *ы* и *и* на *о* и *е* в тех случаях, где этим отличили от старославянского свой выговор великороссы (*крыти* — *крыю*, *крый*, а не *крою*, *крой*, *мыти* — *мыю*, *мый*, а не *мою*, *мой*, *лити* — *лій*, а не *лей*, *вити* — *вій*, а не *вей*, *хромый*, а не *хромой*, *кый*, а не *кой*, *сий*, а не *сей*). Очень важно сохранение некоторых форм изменения слов, например особенного окончания звательного падежа (*сестронько*, *козаче*, *братику*), будущего сложного с помощью глагола *иму* — *имешь* (напр., *знат* — *иму*, *знат* — *имешь*, *знат* — *иметь* — буду знать и т. п.). Местные говоры малорусские также разнообразны, как и великорусские, и более других замечательны своими особенностями говоры западные — в Черниговской губернии, в Галиции и Венгрии, преимущественно говоры горцев бескидских. Там, где сблизилось малорусское наре-

чие с говором белорусским, образовались особенные, смешанные говоры; это явление повторилось отчасти и в других границах великорусского наречия, например в губернии Воронежской. То же самое нельзя не заметить и на западных границах наречия малорусского в Венгрии; там сближение малорусов со словаками породило несколько говоров словацко-русских и русско-словацких.

Довольно обратить внимание на местные видоизменения русского языка, чтобы указать, что народный русский язык теперь уже далеко не тот, что был в древности, довольно, если бы даже и не было возможности узнать ни одного факта касательно древнего русского языка. Но одним изучением нынешнего разнообразия местных наречий и говоров не может ограничиться филолог, если у него в виду объяснить исторически ход изменений русского языка в народе. Вместе с постепенным развитием языка на местные наречия шло и его общее постепенное удаление от первоначального его вида на всем его пространстве. Идя путем превращений, он всюду терял, хотя и не всюду в одно и то же время, свои древние формы и слова, и вместо ветшающих принимал новые, хотя и не всюду совершенно одни и те же, но всюду сходные, и в этом ходе превращений зависел не от местных причин, под влиянием которых отчасти образовывались наречия, а от общих законов изменяемости языков. На каждом из наречий отпечатлелся общий ход изменений языка, но только отчасти и так, что многое, что было в языке прежде, не сохранилось ни в одном из них.

В изменениях своих русский язык шел тем самым путем, которым шли и все остальные славянские наречия. Почти все, что было в нем прежде, было и в них; многое, что по времени терял и вновь приобретал он, теряли и вновь приобретали также и они. Все наречия славянские, чем более изменялись, тем более удалялись одни от других; и взаимное удаление их во многом зависело от разновременности и разнохарактерности их удаления от первоначального вида под влиянием причин местных; тем не менее ход изменений в его главных чертах и условиях был один и тот же и только применялся к обстоятельствам местным.

Так изменения звучности языка представляют следующие факты.

Изменилась постепенно вся система *звуков гласных*; одни из них — именно носовые *ѫ* и *ѧ*, глухие *ъ* и *ь*, широкое *ы* — постепенно выходили из употребления, прежде ограничивали круг своего значения, потом и совершенно пропадали; другие звуки — именно двугласные и средние — являлись вновь, все более умножаясь числом и расширяя круг значения. Удаление гласных звуков от первоначального своего значения выразилось переходом их одних в другие, превращением в согласные, выпущением из слов и приставкою к словам, где их требует не смысл, а понятие народа о гармонии или нужда облегчить выговор слова. Кроме всего этого, звуки гласные долгие тратили свой характер, смешивались с уда-

ренными; ударения тоже теряли свое прежнее значение, подчиняясь условиям внешним, не зависимым от значения слова. Вот несколько частных замечаний об этих изменениях в системе звуков гласных.

Гласные звуки *долгие* и *короткие*, *с ударением* и *без ударения* слышны во всех славянских наречиях, но вовсе не с одинаковым значением. В наречиях юго-западных, равно и в чешском и словацком долгота отличается от ударения, и гласные долгие выговариваются вдвое длиннее против гласных коротких; в одном слове может быть на одной из гласных долгота, а на другой ударение; в некоторых словах слышны только долгие звуки, в других только короткие; в некоторых долгота соединена с ударением на одном слоге, и всюду, где употребляется, употребляется как необходимость. В наречиях польском, лужицком, полабском долгота уже не необходимость, а только украшение, совершенно произвольное, так сказать, риторическое, принадлежащее почти исключительно слогам, обозначенным ударением, и зависящее в употреблении от воли говорящего, а не от требований звучности языка. Равным образом и ударение не во всех наречиях одинаково сохранило давний свой характер. С корней их стали переносить в словах на слоги прибавочные; наконец, подчинив их внешним условиям образования слов, оставили их неподвижно на определенном месте во всех словах одинаково, вовсе без отношения к составным частям и формам образования слов. Так в наречиях юго-западных большая часть слов удерживают ударение на предпоследнем или на первом слоге; в наречии польском ударение на предпоследнем слоге сделалось необходимостью; в наречии лужицком слова двусложные и трехсложные удерживают ударение на первом слоге, а слова, состоящие более чем из трех слогов на третьем от конца; в чешском одним кажется необходимостью обозначать ударением первый слог слова, другим — произносить слова вовсе без ударения. В русском для ударения нет определенного места, и дознаться до правил употребления ударения очень трудно: слоги и первые, и последние, и средние, коренные и придаточные, и те, на которых была и на которых не была в древности долгота, одинаково могут быть обозначаемы ударением. По-видимому, много произвола должно было замешаться в употребление ударений; тем не менее на всем пространстве русского языка большая часть слов произносятся в отношении к ударению одинаково. Равно и долгота слогов во всем русском народе одинаково сделалась принадлежностью риторики народной, не зависимой от строя языка.

Звуки *носовые* уцелели теперь только в польском, и то уже не во всех тех случаях, где бы можно было их ожидать; полный, ясный выговор их стал зависеть от их положения в слове; и число слов, в которых они перестают быть слышны, все более увеличивается: так в конце слов (są, idą́, ręką, mię mrę) и перед окончательным ł (wziął, dął) они выговариваются глухо, в иных

краях без всякого оттенка носового продолжения; так, некоторые производные слова от корней с носовым звуком остаются без него (gusła, nudzić, piekrzyć, sobota, trud). Еще в большей степени нарушено было правильное употребление носовых звуков в наречии балтийских славян. В других наречиях остались они только в некоторых словах: так в хорутанском в Каринтии, в болгарском в Македонии, и т. д. В большей части наречий место носовых заняли чистые или глухой ъ: в сербском *у* и *е*, в хорутанском *о* и *е*, в чешском *у, а, е, и*, в болгарском *а, ъ, у, е*. В русском носовых звуков не было, кажется, уже при самом начале его отделения от наречий западных; широкий носовой звук ѫ заменен в нем посредством *у* (*судъ, рука, беру, воду, водою*, т. е. *вобоjу*), а тонкий ѧ посредством *а*, смягчающего предыдущую согласную (*мясо = мjaco, имя = имjа, летятъ = летjатъ*).

[Иногда посредством *и* и *е*: *землѧ = земле = земли*, своѩ = своѥи = своее = своей.

Смешение ѫ и ѧ (*у* и *а*) произвело формы вроде следующих: *держутъ = держатъ, садютъ = садятъ, стóютъ = стóятъ*. Письменный язык силится удержать *а (я)*, а общий выговор все более настаивает на перемене *а (я)* в *у (ю)*.]

Звуки *глухие* хотя еще и сохраняются, слившись в один (*ъ*), в сербском, чешском, словацком, но только в тех словах, где их выговору помогают *р* и *л*, и то не везде с одинаковой силой. В хорутанском и болгарском глухой гласный *ъ* слышен несравненно чаще, но не везде там, где бы его можно было ожидать, а на месте других гласных звуков; болгарское наречие заменяет им носовые звуки; хорутанское — все гласные без исключения, доводя это пристрастие к глухому звуку в некоторых краях до такой крайности, что в иных выражениях нет вовсе никаких гласных, кроме глухого *ъ*. (Вот для примера поговорка: Къ съм върв въ върт въргъ, съм съ търдъ търн въ пърст вдърл; пишут ее, впрочем, иначе: Ко sim vèrv v'vèrt vèrgel, sim si tèrdi tèrn v'pèrst vdèrl; нигде и никогда так не выговаривая, как пишется.) Во всех других наречиях его нет: в хорватском место его заняли *е, у*, в лужицком *о, е*, в полабском *о, е, а*, в польском *о, е, а, у, и*. И в чешском везде, где нет подле *ъ* ни *р*, ни *л*, он выговаривается как *е* или *у*, в словацком как *о, е, у, а*, в сербском как *а*. Равно и в болгарском место *ъ* заступает нередко *о, е, а*, а в хорутанском *о, е*. Во всех наречиях, кроме этого, есть обычай совершенно опускать глухой гласный звук, ничем его не заменяя: более других замечательно в этом отношении наречие польское, в котором это опущение возможно и там, где бы, казалось, ему должно было помешать стечение согласных (brwi, grzmi, drwa, trwoga). В русском глухие гласные звуки оставались долго: их употребляли довольно правильно еще и в XIV веке, хотя, впрочем, и в памятниках XIII века есть уже ясные следы уклонения от них выговора народного. Впоследствии времени они совершенно пропали, будучи или заменены чистыми гласными *о* и *е*,

или же совершенно выпавши из выговора (*листокъ — листка, палка — палокъ, левъ — льва, тьма — темъ*). Буква *ъ* и *ь* удерживает правописание, но дало им совершенно другой характер, характер не звуков, отдельно выговариваемых, а знаков, показывающих, как должна быть произнесена предыдущая согласная — твердо или мягко. Выговаривание глухого звука *ъ* в некоторых словах (*гмъ, бръ, чълаекъ* вместо *человѣкъ*, сравн. древнее старославянское *ч'ловѣкъ, гътъ* вместо *говоритъ*), без сомнения, замечательно, как остаток старины, но таких слов очень немного. Нельзя также упускать из виду, что в некоторых местных говорах русских, так как и в наречии хорутанском, обнаруживается стремление заменять глухим звуком *ъ* все гласные широкие и звуком *ь* гласные тонкие, если на них нет ударения; впрочем, это стремление не получило еще, кажется, нигде характера постоянного обычая, так что один и тот же человек в том же слове произнесет и звук глухой и гласный чистый.

Широкое *ы* остается на западе в общенародном выговоре только в наречии польском и отчасти лужицком. В других западнославянских краях его можно слышать только в немногих местных говорах, более всего в долинах между гор, где народ упрямее удерживает свой старинный быт, а вместе с тем и старинный язык и выговор. Чехи правильно отличали *ы* от *и* в XV и даже в XVI веке; теперь же хотя и удерживают его в правописании, но этому должны учиться так же, как мы правильному употреблению буквы ѣ. Долгое *ы* они выговаривают как *еи* (*беити, меилити* вместо *быти, мылити*), но этим, однако, не отличалось у них *ы* от *и*, которое тоже обращается в двугласное *еи* [напр., *зеима — зима*]. Сербы правильно употребляли *ы*, не смешивая с *и* в XIII и XIV веках; и теперь еще они стыдятся выбросить его из азбуки, но уже вовсе не понимают его значения, и пишут, где случится, очень часто невпопад. Русские равным образом уже не все сохранили *ы*; его удержали великорусы и отчасти западные малорусы в горах Карпатских, но белорусы тратят все более, а восточные малорусы утратили совершенно, выговаривая безразлично *ы* и *и*, не смягчающее предыдущей согласной, как замечено было прежде. Впрочем и великорусы, сохранив звук *ы* в выговоре, не удержали его везде, где было оно в древности; очень издавна, по крайней мере с XIII — XIV века, место его заступило *о* в прилагательных муж. р. имен. пад. (*великой* вместо *великый*), в настоящем и повелительном глаголов на *ы-ти* (*кры-ти — крою, крой*).

Появление *двугласных* довольно давне; следы их есть в чешских памятниках XIII — XIV веков и в хорутанских памятниках XV века. Теперь двугласные слышны уже во многих наречиях: в чешском есть *оу*, *еи*, в словацком *оу*, *уо*, *ои*, в лужицком *ие*, в хорутанском *оу*, *оа*, *уо*, *уе*, *еи*, в сербском *иjе*. Везде они занимают место гласных чистых и носовых долгих. В великорусском двугласные вообще необычны (кроме таких случаев, как *ае* в слове

чълаекъ), но в малорусском на западе они уже стали необходимостью: *уи, уа* заменяют место долгого *о* (вместо *конь* говорят *куинь, куань*).

Гласные *средние*, в лествице звуков занимающие середины между гласными чистыми, сделалась также необходимостью некоторых местных говоров в разных наречиях. Между ними более других заметны по употреблению: *â*, занимающее середину между *а* и *о*, слышно в хорутанском; *ô*, среднее между *о* и *у* — в хорутанском, лужицком, словацком, и польском; *ä*, среднее между *а* и *е* — в хорватском, хорутанском; *ö*, среднее между *о* и *е* — там же; *ÿ*, среднее между *у* и *и* — в хорутанском, словацком; *ê*, среднее между *е* и *и* — в польском и пр. Употребление этих средних звуков уже проникло и в говоры русские: в великорусском на юге слышны *â* и *ä*, на севере *ô*, в малорусском *ä*, *ê* и др.

Из других гласных звуков ранее прочих подверглась удалению от первоначального звука буква ѣ. Переход ѣ в *а* и в *и* заметен в древнейших памятниках славянских, и теперь повторяется во многих наречиях: в *и* более всего в сербском у римско-католиков и в чешском всегда, когда оно должно выговариваться протяженно (*бида, вира*); в *а* более всего в польском (*biada, wiara*). Кроме того, в сербском оно выговаривается как *ије* (*сриједа, мијесто*), в хорутанском как *еи* (*среида, меисто*). Заменение ѣ посредством *и* обычно и в русском во всех краях (*дитя = дѣтя, дира = дѣра*); на северо-западе в великорусском и в малорусском оно сделалось необходимой принадлежностью выговора. Заменение ѣ посредством *а* не так часто, однако встречается не только теперь в говоре народа великорусского, но и в древних памятниках.

Звук *а* перешел теперь в чешском в *е* во всех случаях, когда соединен в один слог с предыдущей согласной мягкой (*душе, праце* вместо *душа, праца*), а иногда даже и без этого условия (напр., *тейни* вместо *тайный, ней* вместо *най* и т. п.). То же повторилось и в западном малорусском (*конје, рјеб* вместо *коня, рябъ*).

Звук *е* довольно часто заменяется в лужицком посредством *а* (*вјацор* вместо *вечеръ, јаден* вместо *ѥдинъ*), в лужицком и чешском посредством долгого *и* (*хвалени́* вместо *хваленје*), в польском посредством *о* (*wiodę, biorę* вместо *ведѫ, берѫ*). Все эти три формы удаления *е* от коренного звука повторились и в русском. Место *е* заступает *а* или *и* с предыдущей согласной мягкой не только в великорусском восточном и западном (белорусском), если на нем нет ударения (*вјали́к, лјагкó, нјасу* вместо *великъ, легко, несу*; *хочиш, будиш, минја* вместо *хочешь, будешь, меня*), но отчасти и в малорусском (*шча́стја, здоровлја* вместо *счастье, здоровье*; *вечи́р, симь* вместо *вечеръ, семь*). Место *е* в великорусском, хотя и не во всех говорах, заступает *о* почти всегда, когда на нем должно опираться ударение слова (*лјон, идјот, вечор, самъ — сјом* вместо *ленъ = льнъ, идеть, вечеръ, самъ-семь*), а в

малорусском иногда и без этого условия (*јого, јому, чого, чому* вместо *ѥго, ѥму, чего, чему*).

Есть случаи перехода *и* в *е* в болгарском (*прерода, стотена*, вместо *природа, стотина*), в *еј* в чешском *зејма, сејто* вместо *зима, сито*). Несравненно последовательнее, как важная особенность наречия великорусского, представляется переход *и* в *е* в наречии великорусском, будучи необходим в именительном падеже существительных и прилагательных мужского рода, и в повелительном глаголов, если вслед за *и* будет *й* (*соловей, сей, чей, нижней* вместо *соловій, сій, чій, нижній — вей, вейте* вместо *вій, війте*, как удержалось в наречии малорусском).

[В великорусском остаток *и* вместо *е* виден в глаголе *гнить:* повел. *гнійте,* а не *гнейте,* как *пейте, лейте, вейте.*]

В некоторых случаях *и* совершенно пропало: в существительных женского и среднего рода, в неопределенном наклонении, во 2-м лице настоящего времени (напр., *мать, дочь* вместо *мати, дочи, веселье* вместо *веселиѥ, быть* вместо *быти, ходишь* вместо *ходиши*), хотя и не до такой степени, как кажется; народ не только в Малороссии, но и в очень многих краях Великороссии удерживает *и* в неопределенном наклонении (*быти, ходити*), равно и в слове *мати* и т. п.

Звук *у* перешел в чешском после всякой согласной мягкой в *и* (*јитро, либ, чити* вместо *јутро, лјуб, чјути*), в хорутанском на северо-востоке в *ӱ* (= французское *u*, напр. *крӱг, глӱп* вместо *кругъ, глупъ*). Всякое долгое *у* превратилось в чешском в двугласное *оу* (*лоуч, оудоли* вместо *лучъ, удолје*). Перед согласными во многих наречиях *у* стало выговариваться как *в* (*вже* вместо *уже*). В русском повторяется то же (*завтра* вместо *заутра, вже* вместо *уже* и т. п.).

Звук *о* переходит в *â* в хорутанском (*аче, панижьн* вместо *отьче, понижьнъ*). В чешском, польском, лужицком всякое долгое *о* перешло в *у* (*кура, двур, буг* вместо *кора, дворъ, богъ*); то же заметно и в хорутанском нижнекраинском (*нуч, сирута* вместо *ночь, сирота*), в болгарском (*голему чуду* вместо *големо чудо*). В полабском вместо долгого *о* употреблялось *и* (*нисъ, сливи* вместо *носъ, слово*). В хорутанском долгое *о* перешло кое-где в *уо*, так же как и в словацком (*буог, двуор, куора*) или в *оа* (*боаг, двоар, коара*), а в польском кашубском в *уе* (*буег, нуеч*). Почти все эти формы заменения коренного *о* другими звуками повторились и в русском языке. Так, в южном великорусском и в белорусском *о* без ударения перешло в *â* (*гâлâва, хâрâшо*); в малорусском западном, за Карпатами, *о* долгое перешло в *у* [*буг, рудный* вместо *богъ, родный*; сравнить великорусское (*черемуха* вместо *черемоха = черемха*), *муравей* вместо *моровей*]; в малорусском восточном и в некоторых краях западного *о* долгое перешло в *и*, смягчающее предыдущую согласную (*биг, пид, рид, кинь* вместо *богъ, подъ, родъ, конь*), а в некоторых местах в *уи* и в *уа* (*буиг = буаг, куинь = куань*).

В системе звуков согласных происходили подобные превращения: одни из гласных пропадали, другие вновь появлялись, пропадали более согласные простые, появлялись вновь согласные сложные и средние; терялось равновесие между согласными твердыми и мягкими; в употреблении согласных мягких смешивались взаимно две различные формы смягчения — смягчение непосредственное (*дъ* в *дь*) и посредственное (*дъ* в *ждь* = *ж* = *з*); некоторые из согласных (*в*, *н*, *л*, *j*, *г*) стали употребляться как эвфонические придыхания к гласным все чаще. Вот несколько подробностей об этих изменениях в системе согласных.

Согласных простых *г* (*g*), *г'* (*h*), *к*, *х*, *ж*, *ш*, *з*, *с*, *д*, *т*, *р*, *л*, *н*, *м*, *б*, *п*, *в*, *ф* — ни одно из наречий славянских не удержало всех сполна, так как это должно было быть прежде. Звук *ф* хотя и слышится во многих наречиях, но ни в одном его нет в коренных словах; вместо него видим *в*, *б*, *п* (сравните: ferveo — *вру*, faba — *бобъ*, fodio — *боду*, ferio — *перу*, flamme — *пламя*, faust — *песть* и пр.). Случайное удержание *ф* в очень немногих корнях (напр., польское ufać) есть исключение. Звук *ф* слышится только как отзвук звука *в* там, где *в* не может быть произнесено (напр., *всякъ* поневоле выговаривается как *фсяк*, *ровъ* как *роф*, *лавка* как *лафка*). Ни в одном наречии не удержалось правильного различения *г* (*g*) и *г'* (*h*); напротив того, в одних наречиях, как в польском, нижнем лужицком, во всех юго-западных, господствует *г* (*g*), а в других, как в чешском, словацком, верхнем лужицком, *г'* (*h*). Во многих наречиях славянских совершенно пропал чистый твердый звук *лъ* и чистый мягкий *ль*. В русском слышится *г* и *г'*, но в немногих говорах одно при другом, а большей частью преобладает одно из двух: в большей части говоров великорусских *г*, в малорусском наречии *г'*. Историю этой пары звуков в русском языке проследить очень трудно, потому что азбука никогда не отличала их. Что касается западных славянских наречий, то более других замечательные факты представляются в наречиях верхнем лужицком и чешском: в первом господствует теперь *г'*, между тем в собственных именах местностей соседние немцы издавна писали и теперь выговаривают *г*; во втором *г* теперь остается в немногих словах, а древнейшие памятники (Суд Любиши и Евангелие Иоанна IX — X вв.) не представляют ни одного *h*, но постоянно *g*. Из этого можно бы заключать, что *г* древнее, чем *г'*, но едва ли такое заключение совершенно справедливо. Мне кажется, справедливее думать, что оба звука для славянского языка одинаково древни, так же как одинаково древни два подобных звука — *к* и *х*.

Звуки сложные (*дж*, *дз*, *жд* — *ждж*, — *тш* = *ч*, *тс* = *ц*, *шт* — *штш* = *щ*) не все одинаково употребляются во всех наречиях. Общи всем наречиям только три: *ц*, *ч*, *щ* (последний различно выговаривается, где как *шт*, а где как *шч*). Замечательно, что все три принадлежат к разряду отзвучных. Три другие — звучные — слышны только в некоторых наречиях (*дз* преимущественно в польском, *жд* в болгарском). И между тем, предположивши, что

одинаково древни *г* и *г'*, как *к* и *х*, надобно предположить, что так же древни *дж* и *ж*, *дз* и *з*, как *тш* = *ч* и *ш*, *тс* = *ц* и *с*, потому что в лествице звуков *дж* и *дз* относится к *г* (*g*), а *ж* и *з* к *г'* (*h*) так же, как *тш* = *ч* и *тс* = *ц*, к *к*, а *ш* и *с* к *х*; равным образом и *жд* — *ждж* настолько же должно предположить рядом к *д* и с *зг*, как *шт* — *штш* = *щ* рядом с *т* и с *ск*. Несмотря, однако, на древность этих сложных звуков, большая часть случаев их употребления в наречиях не должна быть отнесена к древнейшему времени (таковы, между прочим, польские *дз* и *тс* = *ц*, сербские и серболужицкие *джь* и *чь*, употребляемые вместо мягких *дь*, *ть* и т. п.). Кроме этих сложных, издавна бывших, появились вновь прежде не бывшие сложные звуки. Между ними особенного внимания достойно шепелявое *ṗ*, состоящее из соединения *р* с *ж* или *ш*; в чешском и польском оно сделалось необходимым, как единственная форма смягчения твердого *р*; в лужицком оно принадлежит также к числу звуков очень обычных. Что звук *ṗ* не древний, это очевидно доказывается в лужицком немецким выговором чистого *р* в тех местных названиях, где лужицкий выговор требует *ṗ* вместо *р*, в чешском — древнейшими памятниками (IX — X веков), в которых употреблен один чистый *р*, а для показания его смягчения написано после него *ż*, в польском — народным обычаем выговаривать при произношении, например, русских слов вместо *рь* всегда или твердое *р* или *ṗ*. К числу согласных сложных должно отнести и те согласные, которые соединяются с *j*, *л*, *н* вместо того, чтобы непосредственно смягчиться. Соединение губных согласных с *л* во всех юго-западных наречиях (напр., *землꙗ, каплꙗ, въпль, погублꙗти, ловлѥн*). Вместо *л* употребляется для такого же смягчения предыдущих согласных и звук *j* почти во всех наречиях. Не столь распространены сложные звуки: *кх*, употребляемый в верхнем лужицком вместо чистого *к*, — *тх* (что-то вроде θ), употребляемый в среднем лужицком вместо мягкого *ть*, и т. д.; не стоит доказывать, что это явление последующее. В русском языке, как и в западных наречиях славянских, с течением времени появились звуки сложные. Особенно заметны соединения согласных чистых с *j*, *ль* и *нь* для выражения их смягчения. Смягчения согласных посредством последующей *ль* есть такая же принадлежность русского языка, как и наречий юго-западных: *земля* вместо *земя*, *каплеть* вместо *капеть*, *люблю* вместо *любю* и т. п. В малорусском говорится и *здоровля* вместо *здоровье*. В таком же смысле употребляется *нь* в наречии малорусском (напр., *мнясо* вместо *мясо*), а *j* и в малорусском и во многих говорах великорусских (напр., *вjану* вместо *вяну*). Звуки согласные сложные вообще нельзя не сравнивать в историческом отношении с звуками гласными сложными, т. е. двугласными; те и другие, отсутствуя в первобытном периоде развития языка, сделались его необходимой принадлежностью уже впоследствии времени, когда в языке стала превращаться древняя система звучности.

К числу последующих явлений звучности языка надобно отнести, подобно гласным средним, и согласные средние. В западных славянских наречиях таких согласных средних есть уже довольно много, хотя и нет знаков для их выражения ни в одной из азбук славянских. Между ними всех заметнее звук средний *l*, ясно выражающийся буквой латинской; теряя способность смягчать и удерживать твердость звука *л* (т. е. отличать *лъ* от *ль*), многие из наречий стали вместо *лъ* и *ль* употреблять один *l*. Так, чешское наречие удержало теперь только его, и уже Гус жаловался на пренебрежение чехов к правильному отличению *лъ* от *ль* и на употребление *l* вместо того и другого. Другие западные наречия славянские, за исключением польского и некоторых говоров словацких, тоже включили в свою систему звуков этот *l*, употребляя его вместо твердого *лъ*. Даже и в польском *e* требует перед собою *l* средний. В русском языке везде еще слышны *лъ* и *ль*, но слышно уже и *l*; в малорусском с *е*, *и* может соединиться только один *l*. Таким же образом *е*, *и* изменили перед собой в малорусском, как и в некоторых других славянских наречиях, выговор *н*, *м*, *б*, *п* и пр., сделав их из твердых средними.

Как гласные звуки издревле в языке славянском разделялись на долгие и короткие, так согласные — на твердые и мягкие; и в самых древних памятниках славянских можно отличить два рода смягчения согласных: одно посредственное, переходное смягчение, предполагавшее необходимость перехода звука в другой (напр., *г* в *ж*, *к* в *ч* и т. п.), другое непосредственное (*лъ* в *ль*, *нъ* в *нь* и т. п.). Первый род смягчения, кажется, древнее; по крайней мере его необходимость проникла в строй и состав каждого из наречий славянских; впрочем, издревле существовал и второй. Для каждого рода смягчения было свое особенное место в языке: согласные гортанные подчинялись исключительно смягчению посредственному — переходу в соответственные шипящие и свистящие (*г* в *ж*, *з*, — *х* в *ш*, *с*, — *к* в *ч*, *ц*); согласные губные, зубные и язычные подлежали преимущественно смягчению непосредственному до тех пор, пока не потеряли силы смягчаться и не стали нуждаться в помощи *ль* или *j*, или же в помощи звука шипящего для соединения с гласными, требовавшими перед собой согласных мягких. Той и другой смягчаемости согласных не потеряло вполне ни одно из наречий славянских; особенно хранилась смягчаемость переходная, оставшись всюду необходимой принадлежностью видоизменения корней и образования слов, а во многих наречиях и изменения слов, но прежняя правильность употребления согласных мягких все более тратилась: оба рода смягчения взаимно мешались, и смягчаемость непосредственная постепенно исчезла. Так уже в древнейших памятниках наречия старославянского заметны следы пренебрежения к сохранению мягких *з*, *с*, *ц*, *р* (*кънѧза* и *кънѧзꙗ*, *вьсѩкъ* и *вьсакъ*, *царꙗ* и *цара* и т. д.). В нынешних западных наречиях славянских утраты смягчаемости согласных несравненно более чувствительны; так, в польском нет *жь*, *шь*, *зь*, *ть*, *рь*; в

чешском из согласных чистых остались при смягчении непосредственном только *дь*, *ть*, *нь*, *j*; в сербском — только *нь*, *ль*, *j* и пр. Лужицкое наречие более других сохранило смягчаемость согласных, но и в нем далеко не всегда она слышна там, где бы ее должно было ожидать. Язык русский в этом отношении также потерял многое. В говорах великорусских все чувствительнее становится пренебрежение и к переходному смягчению согласных (*на рѣкѣ* вместо на *рѣцѣ*, *лягемъ* вместо *ляжемъ* и т. п.) и к смягчению непереходному (*лицо, лица, лицомъ* вместо *лице, лиця, лицемь, боюса* вместо *боюся, купецъ, отецъ* вместо *купьць, отьць, хочетъ* вместо *хочеть* и т п.); случаи этого пренебрежения мягких встречаются и в древних памятниках, но в сравнении с нынешним состоянием языка очень редко[1].

Употребление придыханий там, где они не требовались общеславянскими условиями звучности слов, с течением времени все увеличивалось. Наречия славянские в этом отношении хотя и пользовались одним и тем же числом согласных, именно пятью: *j*, *л*, *н*, *в*, *г'*, но каждое по-своему. Только *j* и *н* удержались везде в тех границах, как было и в древности (напр., *jего*, *jему* — *него, нему* и т. п.). Вместо *j* употребляется *л* в говорах польских и словацких (напр., *ледва* = *ледвѣ* вместо *ѥдва*). Что касается до *г'* и *в*, то они употребительны преимущественно перед *о* (*г'остры* = *востры* вместо *острыи*). Придыхание *в* употребительно впрочем и перед другими гласными; так в польском всякое слово, начинающееся коренным носовым звуком, требует перед ним придыхания *в* (*węgiel*, *wątroba*). Придыхания господствуют издавна и в русском языке, попадаясь, впрочем, в древних памятниках гораздо реже, чем в позднейших, и теперь гораздо чаще, чем прежде (*юдоль, союзъ, юха* вместо *удоль, съузъ* = *сънузъ, уха*, — *Вольга, вонъ, вотчина, воспа, восемь*, вместо *Ольга, онъ, отьчина, осъпа осьмь* — *ѥвга, Параскевгиꙗ, гето, генварь* вместо *Евва, Параскевиꙗ, ето, ꙗнварь* и пр.). Между говорами русскими есть в этом отношении и довольно чувствительная разница (напр., *онъ* = *вонъ* = *вйнъ* = *jонъ* = *г'онъ*).

Из представленных примеров уже довольно ясно, что согласные переходили одни в другие по времени все более. Согласные равным образом переходили и в гласные. Важнее других случаев — переход твердого *лъ* в гласные *у, о, а* и в согласное *в*. В древних памятниках славянских такого перехода не замечено; в памятниках XIII—XIV веков попадаются примеры этого, в некоторых рукописях довольно часто. Теперь почти каждое из наречий славянских представляется с особенными условиями такого перехода. Ученое правописание большей частью не признает надобности и в этом случае, как в других подобных, отличать

---

[1] [Нельзя опустить из виду и смягчение нового времени; в великорусском и польском всякая согласная смягчается перед *е* и *и*; это есть и в хорутанском (Каринт.): шитро вместо хытро.]

требований выговора народного, но требования народного выговора от этого не слабеют. Особенно резко отличаются силой таких требований выговора наречия сербское, хорутанское, словацкое и польское; во всех четырех, в большей части говоров, каждое *лъ*, оканчивающее слог, выговаривается как один из означенных переходных звуков (напр., *ходио = ходив = ходиу = ходиа* вместо *ходилъ, котао = кота = коату = коту = коцjов* вместо *котьлъ* и т. д.); в некоторых местах, особенно на севере, даже и при соединении с гласной в один слог, твердое *л* выговаривается как *у* или *в* (напр., *шов, шва, шво* вместо *шьлъ, шьла, шьло*). В русском языке повторяется то же самое на юге и на западе в малорусском наречии и во многих говорах белорусских [и в некоторых великорусских]; твердый *лъ*, оканчивая слог, выговаривается как *в* или почти как *у* — пока еще не всегда, а только в некоторых определенных случаях (преимущественно в прошедших причастиях на *лъ*), но с очевидным стремлением изменять все более свой первобытный звук.

Формы словообразования и словоизменения тратили постепенно свой вид, значение и употребление. Вид этих форм изменялся от произношения, в одних случаях сокращался, в других растягивался. Значение форм изменялось так, что слова, уже определенные какою-нибудь формою, для того, чтобы сохранить свою прежнюю определенность, принимали к прежней форме еще другую; слова определенные без члена стали требовать члена; падеж, ясно выражавший свое значение без предлога, стал требовать предлога и т. п. Употребление некоторых форм все более тратилось: везде утрачивались постепенно прилагательные определенные, неокончательное достигательное, некоторые из падежей, во многих наречиях простые прошедшие, двойственное число; место причастий стали заступать вновь явившиеся деепричастия и т. д. Позволяю себе остановиться на некоторых из подробностей изменений западных наречий славянских и языка русского в отношении к значению и употреблению форм словообразования и словоизменения.

Древний обычай отличать в наращаемых[1] именах существительных и прилагательных и в причастиях именительный падеж единственного числа от падежей косвенных одинаково слабел с течением времени во всех наречиях славянских. Это удаление слов от древней первобытной формы пошло двумя путями: или забываема была совершенно идея наращения и слово изменяться стало в косвенных падежах, как будто не наращаемое, или же и падеж именительный получал форму наращенную. Случаев последнего рода гораздо более, но есть и первые; так, средние имена на *о* (*тѣло, небо*) в большей части славянских наречий потеряли наращаемость по крайней мере в единственном числе; в наречиях

[1] [Оставляю термин, к которому все привыкли, хотя он и не выражает идеи, как не выражают подлинной идеи и многие другие термины.]

юго-западных удержалась она только для множественного числа, и то не без исключений, и только в хорутанском, да кое-где в хорватском не совсем забыта в числе единственном (*око* род. *ока* и *очеса* и т. д.). Наращение принято и для именительного падежа везде для имен мужского и женского рода на *ы* (*камень* = *камен, црьква* = *церква, црькев* = *церкев* и т. д.); в хорутанском удержало форму ненаращенную только *кры* (в род. *кръви*). Слово *мать* удержалось везде в именительном также без наращения, а *дочь* только в наречиях юго-западных, и то не без исключений, в северо-западных же наречиях приняло *р* (*дцера, цера* = *цора* = *цурка* и пр.). Имена среднего рода с наращением *н* и *т* удержались в именительном падеже без наращения в большей части наречий, впрочем, в чешском и словацком наращение *н* господствует уже в народе, все более уничтожая из обычая именительный без наращения (*рамено, племено, имено*). Прилагательные сравнительной степени везде потеряли возможность являться в том виде, в котором видим мы их в древних памятниках; в некоторых наречиях, особенно в сербском, образовались они без помощи наращения на *u'* со смягчением предыдущей согласной (*манjи', болjи', дужи', тврђжjи'*) они сделались неизменными наречиями (*болje, манje* и т. п.), а во всех других приняли и для именительного падежа наращение *ш* (*худши'* = *худѣйши'* = *бѣльши'* = *бѣлѣйши'*). То же самое превращение испытали и причастия прошедшего времени, принимавшие наращение *ш*; они или превратились в неизменяемые деепричастия (*знав* = *знавши*), или, принявши определенное окончание для каждого из родов, сделались обыкновенными прилагательными. Замечательное уклонение от этого представляется в чешском наречии; сделавшись деепричастиями, они, однако, сохранили возможность принимать на себя знак числа (един. *знав* = *знавши*, множ. *знавше*). В таком же положении находятся теперь и причастия настоящего времени, принимавшие наращение *щ*; в северо-западных наречиях, принимая окончание рода с наращением в именительном падеже, они сделались прилагательными (напр., в польском *pijący, znający*, в лужицком; *pijacy, znajacy,* в чешском: *pijici, znajici*) или, не принимая знака рода, превратились в деепричастия (польск. *znając*, луж. *znajo*), отличая только в чешском наречии единственное число от множественного (един. *buda, budouc,* множест. *budouce*); в наречиях юго-западных совершенно потеряли изменяемость (напр., хорут. *delaje, delajo, delajoč,* серб. *играjучи*). В русском языке закон наращаемости имен и причастий долго был в силе; нет сомнения, что не только в XIV веке, но и позже был он в памяти народа, но потом все более был забываем, а теперь представляет в говорах народных только бедные остатки. Во многих именах наращение срослось с именительным падежом (как напр., *колесо, веретено, колѣно, матерь, дочерь, церковь* = *церква, любовь, ремень* и т. п.); во многих других оно пропало совершенно (напр., *небо, слово, ухо, дерево*); в некоторых только, именно

среднего рода, наращаемых посредством *т* и *н*, кое-где удерживается я в косвенных падежах, но и то уже все более колеблясь (говорится *стремя* и *стремень, вымя* и *вымень, темя* и *темень*, *дитятью* и *дитею* и т. п.). Имена прилагательные сравнительной степени или обратились в наречия, или, получив характер степени превосходной, приняли наращение и для именительного мужского (*нижшій, вышшій, большій — ниже, выше, болѣе* и т. п.). Причастия действительные настоящие равным образом сделались или неизменными деепричастиями, или прилагательными, в первом случае без необходимости принимать наращение (*ведя, ведучи, пловучій мостъ, толкучій рынокъ, сыпучій песокъ*). Причастия прошедшие сохранили более свой прежний характер, не отделившись от глаголов до такой степени, как причастия настоящие, но они или сделались неизменными деепричастиями, или приняли наращение и для именительного падежа мужского рода (*ведши, ведшій*). Некоторые из них даже получили характер настоящих прилагательных имен [*моченые яблоки, мощеная улица, суженый ряженый, соленые огурцы, запрещеный товар*].

Отличие прилагательных и причастий определенных от неопределенных, столь яркое в древних памятниках славянских наречий, проникавшее во весь строй их склонения, постепенно терялось; определенные все чаще употреблялись вместо неопределенных, а определенные все более выходили из употребления. И в древних памятниках встречаются случаи этого смешения одних с другими, но редко. В памятниках более поздних таких случаев уже много. Теперь в большей части наречий славянских или вовсе утратилась неопределенная форма, или сохранилась в некоторых падежах и в некоторых поговорочных выражениях. Более всех других наречий удержало особенности прилагательных неопределенных наречие сербское более потому, что почти каждое прилагательное может быть поставлено в форме неопределенной и определенной (*добар, добра, добро, — добри', добра', добро'*); но и в нем уже невозможно просклонять неопределенного во всех падежах без помощи определенных окончаний: в единственном числе творительный мужского рода, дательный и предложный женского, а во множественном все падежи, кроме именительного и винительного, принадлежат склонению определенному. Наречие чешское удержало склонение неопределенное почти только для прилагательных притяжательных, и то не всех и не для всех падежей склонения; самые правильные из них склоняются как существительные в единственном числе, за исключением падежа предложного, а во множественном только в именительном и винительном; другие — только в именительном и винительном и по требованию глагола в дательном (*welik — welika — weliku*). В других наречиях пропало склонение неопределенное почти все сполна. Русский язык в народе сохраняет еще некоторые падежи неопределенных прилагательных почти исключительно для единственного числа, но и в нем они все более выходят из обычая: в песнях, сказках, пословицах они встречаются гораздо

чаще, чем в живом разговоре. В единственном числе можно употребить все падежи, во множественном только именительный и винительный, но уже смысл их до такой степени смешался с падежами определенной формы, что те и другие можно употреблять безразлично, если только имя прилагательное может принять форму определенную в именительном. Впрочем, и здесь народ уже не так строг, как правила литературного языка: даже и притяжательные, без различия форм их образования, начинают принимать форму определенную; некоторые даже не могут быть без нее (напр., те, которые оканчиваются на *ск*: *отцовской*, *дѣтской*; даже и окончание *ск* в названиях городов переменяется на *ской*: *Курской*, *в Курскомъ*). Примеры смешения прилагательных неопределенных и определенных попадаются уже в памятниках русских XIV века.

В изменениях, которые потерпели наречия славянские в отношении к склонениям, более многого другого замечательна потеря двойственного числа. Что оно было во всех наречиях, это очевидно отчасти из древних памятников, отчасти из уцелевших остатков его употребления в говоре народном. Примеры правильного употребления двойственного числа видим в чешских памятниках не только IX—X, но и XIII—XIV веков, в сербских памятниках XIII—XIV веков, в польских памятниках XIV века и позже. Теперь двойственное число сохранилось в целости, как необходимая принадлежность языка народного, только у сербов-лужичан и у хорутанских словенцев, но и то не вполне: родительный падеж совпал с родительным множественного (лужиц. *rakow*, *żenow*, хорут. *rakow*, *żen*). В других наречиях уцелели только напоминания о его прежней жизни в народе — в некоторых выражениях; так, поляк доселе говорит *dwiescie* — а не *dwa sta*, *rękoma*, *uszyma*, а не *rękami*, *uszami*; так и чех говорит *dwěstě*, *dwě ruce*, а не *dwě ruky*, *rukou*, *rukama*, *kolenou*, *kolenama*, а не *ruk*, *rukach*, *rukam*, *kolen*, *kolenach*, *kolenam*, *oči*, *ačima*, а не *oka*, *oky* и т. д. Так потерялось двойственное число и из русского языка: в XIV веке смысл его был еще понимаем, но после оно было все более забываемо; и теперь забыто уже до такой степени, что нечаянных случаев его употребления даже менее, чем в западных наречиях славянских; двойственное число очевидно только в словах *двѣстѣ* вместо *два ста* (как *триста*), *уши, очи* вместо *уха, ока* или *ухи, оки* (как *окна* или *окны*) и в очень немногих подобных. Соединение существительного в родительном единственного с числительным *два — двѣ, три, четыре* (*два, три, четыре слова, двѣ, три, четыре руки*) может казаться тоже остатком двойственного, но только казаться; эта странная особенность славянского словосочетания может быть и сродна с употреблением двойственного числа, но получила издавна свое независимое значение.

Не менее потери двойственного числа замечательно смешение склонения мужского и женского. В древнейших памятниках есть

уже следы неотличения родов в склонении, но более неотличения зависевшего от коренных правил славянского склонения. Так, например, в старославянском одинаковы для всех трех родов имен существительных окончания предложного падежа единственного числа, родительного и предложного двойственного числа, родительного множественного и для всех трех родов имен прилагательных определенных и местоимений окончания родительного, предложного, дательного и творительного двойственного и множественного числа; для мужского и женского рода одинаковы окончания винительного множественного числа; для среднего и женского — именительного двойственного числа. Несмотря на это, в древности славянские наречия представляли много признаков, резко отделявших роды, особенно мужской и женский. С течением времени каждое из наречий по-своему уменьшало число этих признаков; теперь нет уже ни одного наречия, в котором бы сохранились они ненарушимо. Лучше других удержали древний строй наречия польское и чешское, но и в них есть уже отпадения от старины. Так, между прочим, в польском смешались признаки отличия рода мужского и женского во всех падежах, кроме родительного; в именительном смягчение предыдущей согласной с мужского перешло отчасти и на женский, и не вполне удержалось для мужского, в предложном и в творительном женские окончания *ахъ* и *ами* сделались общими для всех трех родов, так же как в дательном мужское окончание *омъ*. В лужицком смешение несравненно резче; в двойственном числе приняты для женского рода почти исключительно окончания мужского рода (*ов*, *омай*), равно и во множественном — в падежах предложном, дательном и творительном (*амъ*, *ахъ*, *ами*), а в падеже родительном множественного числа женский род принял окончание мужского (*ов*: *женов* вместо *жен*). В наречиях юго-западных во множественном числе господствуют преимущественно женские окончания. Русский язык отклонился от древнего своего вида не менее других соплеменных наречий, особенно во множественном числе; именительный мужского рода уже во многих случаях не обозначается мягкостью последней согласной по примеру женского рода (*воины, миры*, как и *воды*, *жены*), и притом в именах прилагательных принимает для всех трех родов окончательное *и* (*свѣтлыи — лучи, зори*); предложный, дательный, творительный приняли тоже окончания женские (*ахъ*, *амъ*, *ами*: *воинахъ*, *воинамъ*, *воинами*, как *водахъ*, *водамъ*, *водами*). В некоторых только поговорочных выражениях сохранились старые формы (*пять человѣкъ* вместо *человѣковъ*, *по дѣломъ* вместо *по дѣламъ*, *мы ради* вместо *мы рады* и т. п.).

Падежи равным образом не удержались все в том виде, как были в древности, хотя, впрочем, и в древности их отличительные признаки уже несколько перемешались в своих значениях; так, между прочим, в старославянском падежи родительный и предложный, отличенные во многих случаях особенными признаками в скло-

нении существительных имен, в склонении прилагательных и местоимений множественного числа смешались в одно окончание (*великыихъ, васъ*); звательный падеж удерживал свое особенное окончание только в единственном для существительных и т. д. Что касается до предложного множественного числа, равного по окончанию с родительным, то в этом отношении замечательнее других наречий сербское, удержавшее окончание это исключительно для родительного падежа (*човеках*, *сръдацах*, *женах* вместо *човеков*, *сръдац*, *жен*). Вместе с этим сербское наречие смешало в одном окончании творительного (двойственного числа) падежи творительный, дательный и предложный множественного числа (*јеленима* значит: оленямъ, оленями, оленяхъ). Звательный падеж еще сохранился для существительных единственного числа в наречиях северо-западных и в сербском, но и то уже не во всех случаях; в хорутанском и хорватском он почти пропал. Болгарское наречие почти совершенно потеряло изменяемость слов по падежам: бедные остатки падежей остаются почти исключительно только в местоимениях, в существительных отличается только звательный. Значительные утраты понес в отношении к падежам и русский язык: звательный сохранился еще в малорусском, но в великорусском об нем напоминают только некоторые слова (*боже*, *господи*). Родительный падеж единственного числа женского рода в существительных мягкого окончания и в прилагательных окончания твердого и мягкого принял окончание предложного и дательного (*земли — твоей — пахатной*) — еще не везде, но в большей части говоров местных, так что и там, где еще слышится старый родительный (на ꙗ, ѥ вместо старослав. ѧ: *землꙗ твоеѥ — пахотноѥ*), он уже употребляется с исключениями (особенно в существительных) и смешанно с предложным и дательным. Винительный множественного числа слился совершенно с именительным и родительным. Это ослабление значения форм падежных показалось в языке русском уже издавна: его можно заметить уже и в памятниках XIV века. Расширяя все более свой круг, оно дошло теперь до таких, как называется, неправильностей, которые не могут не поражать людей, знакомых с языком старым или с правилами книжного языка. Так, между прочим, и окончание дательного множественного числа (*амъ*) употребляется во многих краях вместо творительного (*съ намъ* вместо *съ нами*) и т. п.

Наклонение неопределенное довольно долгое время сохраняло свою достигательную форму (на *ъ* и *ь*): примеры его сознательного употребления находятся в памятниках XIV и даже XV веков. Теперь эта форма сохранилась только в наречиях хорутанском и хорватском, но и в этих наречиях уже она не всегда выражается ясно: в хорутанском окончательное *и* выговаривается в иных местах как гласный *ъ* очень глухо, почти неслышно (*борити* = *боритъ* (три слога) = *борит* (два слога), а в хорватском *и* употребляется и опускается часто по произволу (вместо *идем га зват* можно слышать и *идем га звати*, вместо *не хтео звати* —

не хтео зват). В чешском наречии можно тоже заметить только темное воспоминание о форме достигательной: везде слышно выражение *jdi spat*, даже и там, где окончательное *и* в неопределенном наклонении не отбрасывается или где последнее *т* не выговаривается твердо, но, с одной стороны, таких выражений очень немного, а с другой — немного и таких мест, где бы народ удерживал окончательное *и*. В русском, удерживается ли *и* или при опущении его смягчается согласная *т* в *ть* (*чь*) или *ць*, об отличении достигательной формы нет уже никакого помину. Даже и в старых памятниках она соблюдается не всегда правильно.

[Появляться стало удвоение формы неопр. накл: *иттить*, *клятйтися* (от *клять*, *клясть*), *клясть*=*кляттъ* (*с*=*т*).]

Две простые формы времени прошедшего в изъявительном наклонении были в древности в общем употреблении у всех славян, и уже довольно поздно, в XIV—XV веках, стали быть пренебрегаемы все более и более, будучи заменяемы формами сложными. Впрочем и до сих пор они еще не забыты в большей части наречий славянских. Во всех юго-западных наречиях они хотя и перестают быть необходимостью, но еще твердо удерживаются обычаем народным. Более всего они обычны у коренных сербов, которые правильно отличают форму прошедшую (*онъ игра*, *они играше*, *он би*, *они бише*) от формы преходящей (*онъ играше*, *они играху*, *он бијаше*=*беше*, *они бијаху*=*беху*). У славян, живущих на восток и на запад от них, т. е., с одной стороны, у болгар, с другой — у хорватов и хорутанских словенцев, обе эти формы отчасти перемешиваются в значении, отчасти заменяются сложными. У болгар есть обе формы, но отличаются только в единственном числе (*играх* — *игра*, *би* — *биха* и *играх* — *играше*, *бех* — *беха*). Менее всего они обычны в хорутанском наречии; каждый словенец поймет их значение, но уже немногие употребят их сами; только в некоторых горных говорах можно слышать их, и то более в поговорках, чем в простом разговоре, или же в значении не прошедшего, а настоящего времени (*учисте*, *дѣласте* вместо *учите*, *дѣлате*). Что касается наречий северо-западных, то из них простая прошедшая форма употребляется народом, как необходимая принадлежность глагола, только в наречии лужицком, но уже только одна преходящая (*волах*, *волаше*, *волаху*). В наречии чешском простые формы были обе, но уже смешаны были одна с другой (так что в третьем лице множественного и преходящее и прошедшее принимали одинаковое окончание *ху*: *несјаху* — *несеху*). Теперь они забыты, и остатки их (*bych*, *bys*, *bychom*, *byste*) получили характер сослагательный. В таком же смысле употребляются остатки их и в наречии польском (*bym* и *bych*, *byś*, *byśmy* и *bychmy*, *byście*), имея, впрочем (без прибавления *by*), значение и настоящего времени (cnotą śmy szczęśliwi — мы счастливы добродетелью). При этом нельзя не заметить особенной сложной формы настоящего времени, сохраняющейся в местных говорах польских: jam jest, tyś jest, myśmy są, wy ście są, т. е.

я есмь есть, ты еси есть, мы есмы суть, вы есте суть, более правильной, чем употребительная в других говорах и в литературном языке: jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są, в которой с помощью jest вместо są образованы и два лица множественного числа. Форма эта, замечательная отчасти и для объяснения образования формы прошедшей, употреблялась прежде и у писателей: так у Кохановского читаем: cnotą, śmy są, szczęśliwy. В русском языке простые формы прошедшего времени господствовали еще и в XIV веке. В памятниках не только XIV, но XIII и XII веков встречаются, правда, ошибки против их правильного употребления, в которых выражается незнание отличий лиц, но их вообще так немного в сравнении с теми случаями, где бы ошибки могли повториться и, однако, не повторялись, что этого достаточно для доказательства, что ошибки сделаны переписчиками позднейшего времени. В Слове Даниила Заточника есть выражение „умъ мой яко нощны вранъ на нырищи забдѣхъ", но то, что в нем кажется ошибкой, произошло не по ошибке, а по желанию дословно внести выражение св. Писания (Псал. 101, 7—8): „ıако нощный вранъ на нырищи (за-) бдѣхъ". В некоторых списках Хождения Даниила есть выражения явно ошибочные: „тогда онъ поклонихся; азъ ту стояше", но все списки Хождения Даниила так поздни, что в них подобных описок нельзя не ожидать. Так и в списках Сказания о побоище Мамаевом выражение „Дмитрій же слышахъ" есть очевидная описка позднего писца. Для того чтобы убедиться, что это описки, а не ошибки сочинителя, стоит сравнить списки — и не в том так в другом найдется и правильное чтение. Как бы, впрочем, то ни было, в XIV—XV веках простые формы прошедшего были народом оставлены, так же как и в некоторых западных наречиях, и сохранилось только в бедных остатках. К числу этих остатков должно отнести форму условную, образуемую посредством *бы*; хотя, лишившись видоизменяемости по лицам и числам, это *бы* могло показаться союзом, тем не менее оно точно так же образует сложное время, как образовывало и прошедшее *быхъ* в языке древнем (*я писалъ* есть сокращение древней формы: *я* (*язъ*) *есмь писалъ*; так и *я бы писалъ* употреблено вместо древнего: *я* (*язъ*) *быхъ писалъ*; *писалъ* в обоих случаях есть причастие, только соединенное с двумя разными формами вспомогательного глагола). Мы не изменяем *бы* на том же основании, как не изменяем и *есть*, употребляя это третье лицо единственного для всех трех лиц обоих чисел. И как не везде в языке русском осталось неизменным *есть*, так не везде осталось неизменным и *бы*. В великорусском осталось еще *еси* не в одних песнях (*гой ты еси*) как знак второго лица; в малорусском восточном еще чаще слышится *еси* и *есте*; в малорусском западном употребительны не только вторые лица, но и первые: *емь*, *есмо* = *смо*; так и в сослагательной форме в белорусском и в некоторых говорах собственно великорусского еще слышно *быси* = *бысь*, в малорусском восточном *бысь* и *быcте*, а в малорусском западном

и *бымь*, *бысмо* (отличные от *бывъ емъ*, *бывъ си*, *были смо*, *были сте*). К числу остатков простых форм прошедшего времени должно отнести и *буде*=*будеть*, употребляемое теперь безлично, т. е. в 3-м лице единственного. Форма *буду*, *будешь* и пр., хотя осталась издавна в значении будущего во всех наречиях славянских, есть однако форма настоящего времени настолько же, как и *иду*, *веду*, *хожу*, *ношу* и пр., и предполагает подобные формы для выражения прошедшего. Как от *иду* было *идохъ* и *идѣахъ*, так и от *буду* — *будохь* и *будѣахъ*. От *будѣахъ* третье лицо единственного *будяше* известно (напр.,из летописи Нестора: *аще ли будяше нужьное орудіе, то оконьцемъ малымъ бесѣдоваше*, л. 79. *Хотя видѣти абье уязвенъ будяше*, 62. *Сбудяшеться старче слово*, 81). От *будохъ* третье лицо единственного было бы *буде* или с окончанием *т* — *будеть*, как от *идохъ* — *иде* или *идеть*. Это *буде*=*будеть* такое же прошедшее совершенное, как и *бы*, и так же как *бы* могло употребляться в смысле сослагательном или условном. Но оно издавна утратило уже свою изменяемость, получив смысл безличный (в Русской Правде есть *будеть видили*), а потом легко могло смешаться с настоящим-будущим и замениться им (как и в Русской Правде: *будутъ крали* вместо *будоша крали*). Не один русский язык представляет формы *будѣахъ* и *будохъ*. В чешских старых памятниках budjech — budješe встречается довольно часто (напр., у Далимила: w staršich budješe rada, w kupěli je zmyjechu, tak wsje nemoci zbudjechu и пр.). В лужицком budźich — budźiše в смысле сослагательном изменяется вполне и столько же обычно в простом разговоре, как и другая форма прошедшего простого — běch, běše. В болгарском есть *быдох* — *быде*, тоже для всех лиц обоих чисел, отличное от *бех* — *беше*, а по местам слышно и *быдјах* — *быдјаше* тоже в смысле сослагательном.

Формы сложные, очень разнообразные, представляются и в самых древних памятниках славянских. Некоторые из них постепенно вышли из употребления, но другие, более сложные, появились позже, на их место, прежде чем те были забыты. Теперь формы сложные не так разнообразны по составу, но зато числом их более. В числе вышедших из употребления особенного внимания достойны те, которые составлялись помощью причастий действительных наращаемых. Соединение причастия действительного настоящего со вспомогательным глаголом *быть* было в древнем языке так же обычно, как и соединение с этим глаголом причастия настоящего страдательного; примеры его можно найти и в памятниках старославянских (например, в Остромировом Евангелии: *и бѣ учѧ въ сѫботы*), и в чешском (напр., в одном из очень старых списков псалтыря: neni kto dobuda duše mé = *нѣсть взыскаяй душу мою*, Псал. 141,5.), и в русском (напр., у Нестора: *бяше около града лѣсъ и бяху ловяще звѣрь*). Форма эта не совершенно погибла: в приморском сербском и хорватском ее можно еще слышать, хотя место причастия и заступило дее-

причастие (напр., *он јебио ходеч, када га позвали* — он был ходя, когда его позвали). Что касается причастия действительного прошедшего, то его окончание *въ* сравнивали с окончанием 1-го лица прошедшего простого *хъ*, думали, что оба эти окончания вместе с окончанием прошедшего причастия *лъ* значат одно и то же, „как придыхания для устройства слогов“, и что поэтому-то употреблялись будто бы без различия. С этим никак нельзя согласиться: *хъ* есть знак первого лица, равный по смыслу с *мъ* (срав. *ego* — *me*, герм. *ich* — *mich*, лит. *as* и *mas* — *mene*, слав. *азъ* — *мѧ*), между тем как *лъ* и *въ* — местоимения указательные, употребленные для образования причастий, как прилагательных отглагольных. Замечено было, что *съвъ* стоит в некоторых рукописях вместо *съхъ* там, где теперь мы употребляем *съялъ* (Матѳ. XXV, 26). Примеров подобных можно представить много из древних памятников русских (напр., у Нестора: ***Игорь же совокупивъ вои многи и тали у нихъ поя, — Русь поидоша и приплуша, и всю страну никомидiйскую поплънивше и судъ весь пожьгоша, — Володимеръ слышавъ яко ятъ бысть Василько ужасеся, и всплакавъ и рече*** и пр.). В русском языке эта форма не погибла и теперь: в северных говорах наречия великорусского она сохранилась, хотя и не сохранивши своей прежней определенности оттого, что вместо причастия, согласовавшегося с подлежащим в роде и числе, употребляется неизменяемое деепричастие (*онъ ужь вставши, вы были вставши* и т. п.). Как теперь, так и прежде в этом случае настоящее время вспомогательного глагола часто опускалось, так же как опускается у нас в прошедшем, составленном помощью причастия на *лъ* (*онъ съялъ* вместо *онъ есть съялъ*), но в чешском старом оно часто оставалось, так же как и другие времена (*jest zasluźiw, budu źiw* и т. п.). Древние памятники славянские представляют сложные времена, образованные помощью глаголов: *быть, имѣть, начать, хотѣть*. В памятниках позднейшего времени, равно как и в нынешних наречиях славянских, употребление последних трех глаголов уже далеко не так обще: их место заступил в большей части случаев глагол *быть*. Впрочем и теперь глаголы *имѣть* и *хотѣть* еще употребляются для образования будущего времени: *иму думати* вместо *буду думать, стану думать, долженъ думать* можно слышать в наречиях чешском, лужицком, польском. *Хочу думать* в том же смысле слышится в наречии болгарском и сербском; болгарин вместо этого еще употребляет форму *хочу да думаю* и, кроме того, испорченную форму *хочетъ думаю*, так что *думаю* будет изменяться по лицам и числам, а *хочетъ* останется неизменным для всех лиц и обоих чисел. В русском народном употребление глаголов вспомогательных тоже изменилось. Глаголы *хотѣть* и *начать* потеряли характер вспомогательности, а глагол *стать* получил ее. Глагол *имѣть* сохранился как вспомогательный для образования будущего только в малорусском: *иму думать* (*думат* — *иму*) вместо *буду*

или *стану думать*. Что касается до глагола *быть*, то с усилением его вспомогательной силы образовались, в дополнение к формам древним, новые формы, более сложные. Формы *есмь думалъ* и *буду думать* остаются во всех наречиях, хотя и не без изменений: *есмь* опускается подразумеваясь, а *быхъ* употребляется без личных окончаний как неизменное *бы*; *бѣхъ думалъ* остается в болгарском, сербском, лужицком; *есмь былъ думалъ* в сербском, хорутанском, чешском; *быхъ былъ думалъ* в хорутанском, чешском, польском; *есмь бы былъ думалъ* в сербском; *буду думалъ* в хорватском, хорутанском, польском; *буду былъ думалъ* в хорватском. В русском большая часть этих форм совершенно исчезла из говора народного.

Превращение славянского языка при переходе из древнего состояния к новому очень яркими чертами отразилось на способе выражения чисел, родов и лиц. Вместо трех чисел, бывших в древности необходимым достоянием славянского спряжения, в большей части наречий осталось только два; двойственное сохранилось теперь только в лужицком и хорутанском. В польском характеристические окончания двойственного числа тоже уцелели в народе, но употребляются вместо множественного (*pojdźwa*, *pojdźta* вместо *pójdźiem*, *pójdźcie*). В русском остались они только в нескольких словах: *пожалуйста* — то же, что в старом польском *pożalujszta*, по форме второе лицо двойственного; *вы ста ради* вместо *вы есте ради* — тоже остаток двойственного. Отличение родов в спряжении потеряно очень давно; в самых древних памятниках славянских находим отличение родов только в двойственном; оно сохранилось в двойственном и до сих пор там, где уцелело употребление двойственного числа. В русском задолго прежде, нежели погибло двойственное, окончания рода мужского и женского смешались, и *есвѣ, естѣ* стали употребляться в мужском вместо *есва, еста*. Что касается до лиц, то особенного внимания достойно третье. Древний знак его *ть* стал выходить из употребления уже очень издавна; так, в древнейших памятниках церковнославянских уже не видим, кроме немногих случаев, употребления его в прошедшем времени (*да, даѧше, дашꙗ, дахѫ* вместо *дать, даꙗшеть, дашѧть, дахѫть*); только в некоторых глаголах первообразных видим *тъ* вместо *ть* в третьем лице единственного прошедшего времени (*ѩтъ, жѧтъ* и т. п.). То же и в древнейших памятниках чешских. Только в русском языке удерживалось в этих случаях довольно долго употребление *ть*, но и то почти исключительно в преходящем (*даꙗшеть, даꙗхуть*). В настоящем долго удерживался знак этот в старославянском, чешском, так же как в русском, но и в русском как в других наречиях он не удержался как необходимая принадлежность спряжения. В западных наречиях он сохранился теперь почти только в наречии болгарском, и то для одного множественного (*он дума, они думат*). В русском народном, хотя и не погибло еще употребление *ть* совершенно, но во мно-

гих говорах вместо *ть* слышно *тъ*, а в других для единственного числа уже не слышно ни того ни другого, или же если и употребляется, то самопроизвольно так, что можно и опустить *ть* (*иде* и *идеть*).

[Появление неизменяемых слов очень давне: *годѣ* (Супр. 422), *исполнь, свободь, средовѣчь* (Малал. — Калайд. Ио. екз. 183) в старослав., *ŕyzy* в луж., *мани* в серб. (*тодушмани мани бише*), в мрус. нар. *гараздъ*; в древ. русском также были такие прилагательные, например *студень*.]

Столь же значительные потери в отношении к определенности форм потерпели наречия славянские и в формах словосочетания. Между явлениями, происшедшими вследствие превращения древнего строя, особенно замечательны: опущение управляющих глаголов, необходимость сочетания падежей с предлогами, потеря падежей с предлогами, потеря падежей самостоятельных.

Случаи опущения глаголов управляющих, преимущественно существительного глагола *быть*, попадаются и в древнейших памятниках, особенно в третьем лице единственного настоящего времени. Теперь в большей части наречий это опущение допущено для третьего лица обоих чисел. В русском оно стало в большей части говоров почти необходимостью для всех трех лиц обоих чисел.

Употребление падежей без предлогов все более ограничивается. Так, между прочим, в хорутанском, чешском и особенно в лужицком даже творительный, означающий орудие, требует перед собой предлога *съ* (*съ ножемъ рѣзать* вместо *ножемъ рѣзать*). Предложный без предлога сохранился только в лужицком (*Будишинѣ* вместо *въ Будишинѣ*). Дательный места сохранился почти только в горном хорутанском (*Бѣляку* вместо *къ Бѣляку, въ Бѣлякъ — in Villach*). В русском беспредложный местный падеж сохранился только в поговорочных выражениях (напр., *зимѣ, лѣтѣ* вместо *въ зимѣ, въ лѣтѣ, зимой, лѣтомъ*).

Употребление падежей самостоятельных было не очень распространено в славянском языке; так, между прочим, только в отношении к старославянскому и древнему русскому не остается никакого сомнения, что дательный самостоятельный употреблялся как форма необходимая. В старых чешских памятниках есть случаи самостоятельного употребления не только дательного, но и родительного (напр., в Сгорельских отрывках Евангелия Иоанна: Iesus pozdwiženyma očima w nebe, reče, XVII, 1; Otpočiwajicim dwěmanadceti učedlnikom pokazal sje jim Ježiš, Мар. XIV, 14; a ješče jich newěr'icich ale diwucich pro weselé, wece jim, Лук. XXIV, 41), но их так мало и употребление их так принужденно, что едва ли не должно считать эти случаи следствием влияния письменности старославянской. В русском употребление дательного самостоятельного сохранялось еще в XIV веке, но уже не с такой требовательностью, как прежде, и теперь осталось в некоторых выражениях случайно (напр., в западномалорусской по-

словице *самому тебѣ, в лѣсѣ, товарища не знайдеш;* ясно, что при выражении *самому тебѣ* подразумевать должно причастие *будучу*).

Состав всех славянских наречий, в том числе и русского языка, изменялся постепенно все более, с одной стороны, от утраты старых корней и от заменения слов, произведенных от них, новыми словами, произведенными от корней, более обычных, с другой стороны — от заимствований из языков иностранных. Утраты были впрочем вовсе не так велики, как можно думать, не обращая внимания на богатства народного языка. Чем более известны становятся западные славянские наречия и наш народный язык, чем с большей доверенностью и отчетливостью прислушиваемся к говору простого народа, тем более отыскиваем слов и выражений древних, считавшихся утраченными, и тем менее можем сомневаться, что и другие, еще не объясненные или вовсе неизвестные и важные для объяснения древнего быта, будут также найдены в той же неисчерпаемой сокровищнице — памяти народной. Утрат более кажущихся, чем действительных: иные слова, прежде изменявшиеся по разным формам, остались неподвижными в какой-нибудь одной форме; иные частицы, например предлоги: *па, су, бе, ра,* потеряв свое независимое значение, сохранились в словах сложных (*пажить, сурожь, бесѣда, радуга*) и т. п.

Рассматривая множество слов, вновь образованных, нельзя не обратить особенного внимания на то, что как в западных наречиях славянских, так едва ли даже не более в нашем русском созидаются до сих пор слова совершенно новые, без всякого видимого пособия прежних общеупотребляемых корней. Воображение народа творит их внезапно, безотчетно, между тем нередко так удачно, так ловко выражая понятия, что, несмотря на свое как будто случайное появление, они остаются в памяти народной и занимают в ней место между словами необходимыми. В минуты одушевленной беседы они срываются с языка собеседников так же невольно, как и все другие слова, давно знакомые, но производят впечатление сильнее других, делаются любимыми, расходятся из дома в дом, из села в село, все далее, и потом не одно из них уже заставляло этимологов задумываться, от каких бы корней могли они произойти. Едва ли впрочем можно считать несомненным, что все такие слова — произведения чистой случайности или личного воображения тех, кто в первый раз их высказал; нельзя по крайней мере упустить из виду, что некоторые из таких слов, как ни безотчетно срывались они с языка, как ни были далеки своей звучностью от всех других слов, известных тому, кто их произносил в первый раз, находили себе подобные в других наречиях. Основываясь на этих изведанных примерах, надобно допустить возможность, что одно и то же такое слово, в одном или почти одном и том же смысле, может быть высказано несколькими людьми в разных местах, совершенно независимо и с тем особенным оттенком звучности, кото-

рый требуется характером местного выговора. [Сверх таких слов, как будто неизвестного происхождения, вновь созидаемых, создается в народе множество таких, которые, будучи произведены от слов общеизвестных совершенно правильно, производятся все-таки случайно для выражения понятий, которые они без особенной случайности не могли бы удержать за собой.

Что касается до слов, занятых от других народов, то, как их ни много в некоторых наречиях славянских, число их далеко не так велико, как можно думать, доверяя некоторым простодушным составителям словарей: многие из них считались занятыми только потому, что людям, поставившим их в это число, незнакомы были языки, из которых они были ими выводимы. Сравнение наречий славянских привело бы их совершенно к другим заключениям. Высший класс общества принимал не всегда с сопротивлением слова и обороты чужие, но и он — более по требованию моды, по случайному увлечению, очень часто только на время; массы народа, напротив того, постоянно уклонялись от этих заимствований, а если брали чужое, то почти всегда переделывая сообразно с характером своего языка [1].

[Развитие русского языка на наречия и говоры выражалось все более и в составе его так же, как и в строе. Бесспорно, что этому стремлению народного инстинкта к местному раздроблению языка мешало и все более будет мешать стремление противоположное — обобщить язык, сделать лучшую долю его богатства общим достоянием всех частей народа. И есть уже он, общий русский язык, и силен уже он своей духовной властью над всем народом, и все более упрочивает свое единовластие всюду, даже в тех краях земли русской, где местные говоры резко отступают от его направления. Тем не менее разнообразие состава говоров в разных краях и разных классах народа ощутительно сильно и поражает наблюдателя своей мелочной пестротой. Есть целые массы слов и выражений, известных только в некоторых местах, между тем как равносильные им по значению и отличные по звукам господствуют в других; есть целые массы слов и выражений, известных только людям одного класса, одного ремесла...]

К числу очень замечательных явлений в истории народного русского языка принадлежит образование так называемого афинского, или офёнского, наречия, почти совершенно непонятного по составу своему и совершенно правильного по строю. Употребляемое ходебщиками, странствующими продавцами, мастеровыми и извозчиками, оно считается у нас языком, составленным нарочно для того, чтобы можно скрывать им свои мысли и намерения, языком разбойников, обманщиков и т. п. Едва ли это мнение

---

[1] [Рассматривая занятие иностранных слов, надобно заметить и занятие иностранных форм словообразования. Вспомним наше русское *ировать:* вояжировать, меблировать, гармонировать. Это *ир* есть немецкое *ir*. Это *ir* занято было у немцев и французами.]

совершенно справедливо. Бесспорно, что оно бывает употребляемо и с такой целью, но так употреблен может быть всякий неизвестный язык, каково бы ни было его происхождение. Бесспорно также, что в афинское наречие введены теперь и такие слова, которые, происходя от русских корней, повторяют только их в вывороченном виде, но таких слов в сравнении с остальными немного. С другой стороны, также бесспорно, что афинское наречие есть наречие местное — костромское и владимирское; что очень многие слова его в общем ходу не только в губерниях Костромской, Ярославской, Владимирской и других окрестных, но и в других северных, а некоторые известны в разных других краях; что никто из знающих его не думает скрывать его как тайну, так что и дети говорят по-афински и всякому воля ему выучиться, лишь была бы охота; что мошенники и разбойники не вели им никогда, сколько известно, своих тайных разговоров, а употребляли для него ломаный татарский язык. Всматриваясь же внимательно в состав афинского наречия, нельзя не остановиться на таких словах, которые были в старом русском, или до сих пор находятся в других славянских наречиях, или же относятся к древнейшему достоянию европейских языков. В нем не одно слово заслуживает внимание филолога, и жаль, если ни один из наших филологов, оставаясь при мнении, что оно не стоит серьезного внимания, не захочет сделать его предметом особенного изучения...

Возвращаясь от современного состояния языка все далее назад, в века прошедшие, наблюдатель видит в нем тем менее признаков превращения, чем он древнее. В первые времена отделения наречий славянских этих признаков было мало, с тем вместе мало было и черт различия между наречиями. Еще один шаг назад, и все наречия не могут не представляться наблюдателю одним нераздельным наречием.

VI

К тому времени, когда наречия славянские отличались одно от другого еще очень немногими чертами, принадлежат первые памятники письменности славянской и первое начало образования книжного языка. Вот почему с такой легкостью распространялось у всех славян христианское учение, когда проповедовали его братья-первоучители, Константин и Мефодий, и ученики их: они могли проповедовать на своем местном наречии всюду, куда ни заходили, оставаясь всюду совершенно понятными. Вот почему и наречие это, раз освященное церковью, могло утвердиться как язык веры и науки всюду, где этому не помешали обстоятельства внешние. Стоило применить его к требованиям того или другого местного наречия в отношении к употреблению некоторых очень немногих звуков и некоторых очень немногих форм и слов, — и между ним и этим местным наречием не оставалось

никакой разницы. Всего было легче утверждение старославянского наречия в русской письменности, потому что русский язык к старославянскому наречию был гораздо ближе всех других наречий славянских и по составу и по строю. От этого, сколько ни мешались один с другим в произведениях письменности, элементы старославянский и чисто русский, язык этих произведений сохранял свою правильную стройность всегда, когда вместе с элементом старославянским не проникал в него насильственно элемент греческий — византийские обороты речи, византийский слог — и когда притом писавший им был не чужестранец, не умевший выражаться правильно по-славянски. Всего менее можно было ожидать полной стройности языка от переводов с греческого и от сочинений греков; всего более — от произведений тех из русских, которые писали без старания подражать языку переводов. Так как переводимо было более, чем сочиняемо, и в числе писавших бывали нередко греки, то некоторые уклонения от правил общеславянской стройности языка не могли не войти в обычай и не утвердиться в языке письменном. Эти уклонения, сначала касавшиеся только слога, потом и некоторых правил словосочетания, положили первое начало отделению языка письменного от языка народного. Столько же важно было в этом отношении и введение в язык письменный слов чисто греческих и взятых из книг греческих или буквально переведенных со слов греческих для выражения тех понятий веры и науки, которые не могли быть известны народу. Впрочем до тех пор, пока в языке народном сохранялись еще древние формы, язык книжный поддерживался с ним в равновесии, составлял с ним одно целое. Друг другу они служили взаимным дополнением. Народная чистота одного и ученое богатство другого были в противоположности, но не более как язык людей простых и людей образованных. Действительное отделение языка книг от языка народа началось уже с того времени, когда в говоре народа более и более стали ветшать древние формы, когда язык народа стал решительно превращаться в строе своем. Язык в народе изменялся и весь на всем своем пространстве и по разным местностям, развиваясь на говоры и наречия, а в книгах вольно и невольно удерживался язык древний, неизменный язык веры и церкви. Писавшие по-книжному хотя и позволяли себе вводить в него слова из языка народного, но характер его строя, кроме употребления звуков, оставляли почти совершенно неприкосновенным, нарушали его только нечаянно, случайно, по безотчетной забывчивости. Его чистоту берегло более духовенство, потому что имело более нужды знать его как язык веры; его чистоту нарушали более люди светские, менее к нему привыкавшие, но и они нарушали ее не по воле, чтили его как язык веры, как язык высшей образованности, оттеняли им свой живой народный язык не только на письме, но и в изустном разговоре и вместе боялись оттенками народного языка портить язык книги тем более, чем важнее был

предмет, о котором писали, чем нужнее казалось поддержать важность речи. Прочное начало образованию книжного языка русского, отдельного от языка, которым говорил народ, положено было в XIII—XIV веках, тогда же как народный русский язык подвергся решительному превращению древнего своего строя. До XIII века язык собственно книжный — язык произведений духовных, язык летописей и язык администрации — был один и тот же до того, что и Слово Луки Жидяты, и поучения Иллариона, и Русскую Правду, и Духовную Мономаха, и Слово Даниила Заточника, и Слово о полку Игореве, и Грамоту Мстислава Новгородского некоторые позволяли себе считать написанными одинаково на наречии не русском, а старославянском. Если бы язык народный в то время, когда были писаны все эти вещи, отличался от книжного, то он не мог бы не показать себя хоть кое-где своими особенностями, по крайней мере настолько, насколько народные языки западной Европы в то же время показывали свои особенности в книжном латинском. В XIV веке язык светских грамот и летописей, в котором господствовал элемент народный, уже приметно отдалился от языка сочинений духовных. В памятниках XV—XVI веков отличия народной речи от книжной уже так резки, что нет никакого труда их отделить. Эти отличия увеличивались сколько от удержания в книгах древнего строя языка, столько и от изменений, которым подвергался книжный язык независимо от народного. Не неподвижным оставался язык книжный. С одной стороны, с расширением круга литературной деятельности, трудно было писателю ограничиваться в круге понятий ученых, для которых прежде придуманы были приличные выражения: по образцу не народному, а старославянскому, хотя и с применением к языку русскому, постепенно составлялись новые слова производные и сложные; и число этих слов увеличило с течением времени состав книжного языка на третью долю, если не более. С другой стороны, вследствие связей с иностранцами занимаемы были все более слова и обороты из чужих языков, особенно из латинского — одни с применением к характеру русского языка, другие целиком. Вследствие всего этого язык книжный окончательно отделился от народного. Время отделения книжного языка от народного составляет первый период его развития.

Прежде окончания этого первого периода начался второй период его развития — период его возвратного сближения с языком народным. Чем более превращался язык живой народный, чем более исчезали в нем из обычая и сознания древние формы, тем более под его влиянием терял свою древнюю систему язык книжный. В XVI веке язык древний в отношении к народному был уже на такой степени противоположности, что только очень образованные писатели умели владеть им, не смешивая с языком народным. Чем более умножалось образование и письменность, чем более яснела мысль обобщения литературы, тем более элементов

языка народного, часто против воли книжников, заходило в язык книжный, и тем легче были эти заимствования, чем менее отзывались простонародностью. Из народного языка вошло в книги постепенно очень много слов для выражения тех понятий народных, которые трудно было передать словами языка церковного. Из народного языка в книжный заходили тоже и многие обороты тем с большей легкостью, чем менее твердо было у писателя знание языка церковного. Тогда вместо одного языка книжного явилось два: один, древний, оставаясь ненарушимым в своем строе, только несколько оттенялся от первоначального своего вида влиянием народного; другой, новый, был смесью старославянского с живым народным. А так как народный язык уже делился на наречия, то и этот новый книжный язык не мог быть везде один и тот же и тем более удалялся от старославянского, чем более резки становились черты местных отличий народного говора. Временное отделение Руси западной от восточной не могло, между прочим, не наложить печати на местных видоизменениях нового книжного языка: в XVI—XVII веках его западное видоизменение довольно ярко отделилось от видоизменения восточного. Потом, когда обе части Руси опять соединились в одно целое, когда почти вся масса русского народа политически сосредоточилась в Москве, хотя и стали все местные видоизменения нового книжного языка сближаться под одним влиянием народного наречия великорусского, но это сближение могло происходить только медленно; столько же медленно приобретало свои права на ународование книжного языка господствующее наречие великорусское. Множество слов и оборотов, хотя и образованных русскими, но по формам давно устарелым или по образцам чужим — греческим, латинским, инославянским, успели укорениться так сильно в книгах, что потом легче было презреть равносильными им словами и оборотами живонародными, чем ими заменить вновь то, что было хотя и чуждо народу, но освящено давностию. Легче было дополнять язык книжный заимствованиями из языка народного, чем отвергать из книжного то, что уже считалось его принадлежностью. Победы народности шли и идут медленно: каждая отвергнутая форма, каждое отвергнутое слово стоило и стоит борьбы, иногда и долговременной и всегда более или менее упорной. И между тем как все отвергнутое нетрудно пересчитать, неотвергнутыми остаются целые громады. Было время, когда вопрос о словах *понеже*, *поелику*, *поколику* и им подобных делил пишущих на две противоположные стороны, не шутя спорившие между собой, быть ли этим словам или не быть, — и тогда же лучшие писатели, отвергавшие эти слова, в число законных „вольностей поэтических“ позволяли себе включать употребление родительного падежа женского рода в единственном числе на *ыя, ія, ея* (напр., кичлив*ыя* жены супругъ) и другие столько же устарелые формы. Недавно такой же вопрос возбудили слова *сей* и *оный*, а между тем те, для которых они сделались совершенно невоз-

можными, нисколько не задумываясь, употребляли слова, в которых, противно требованию языка народного, обычай книжный допустил *щ* и *жд* вместо *ч* и *ж* или *ре* и *ле* вместо *ере* и *еле*, *оло* (напр., ро*жд*ество вместо ро*ж*ество, п*ред* вместо п*еред*) и т. п. В таком роде были большей частью победы народности над языком книжным. Нельзя притом не заметить, что победы эти состояли более в отвержении из языка книжного тех форм и слов, которых не знает народ, чем во введении тех форм и слов, без которых не может обойтись язык народный и которых недостает в языке книжном. Так, между прочим, до сих пор еще остаются в изгнании слова *ихный*, *неинъ*, хоть их и нечем заменить; так, неправильностью считается сочетание деепричастия с глаголом существительным, столько употребительное в северном наречии великорусском. Победы народного языка над ненародной частию книжного были и есть тем тяжелее, что им мешало и мешает влияние языков западной Европы: вместе с образованностью западноевропейской переходили в язык наших высших классов и книг слова и обороты чужие; нужные и ненужные, и затрудняли его сближение с языком народным. Эта отдельность языка книжного от народного при развитии наречий и распространении письменности и любви к занятиям литературным пробудили охоту к попыткам употреблять в книгах язык чисто народный. Явились и продолжают являться в разных краях России писатели, которые стараются выражаться совершенно так, как говорит простой народ, но их усилия на книжный язык произвели до сих пор влияние не столько, как бы можно было ожидать, по крайней мере потому, что их самих было мало. Вследствие их влияния вошло в книжный язык несколько слов, большей частью технических, и несколько поговорочных выражений — не более. Сила старых книжных привычек до сих пор так сильна, что даже писатели, старавшиеся употреблять чисто народный язык, не могли и не могут оставаться в круге, ими для себя назначенном, и чуть только перестают говорить по-мужицки, как нечаянно, против воли, мешают в свой язык разные мелочи из языка книжного. Таким образом, новый период истории книжного русского языка, представляя ряд побед народности живой над тем, что уже отжило, далеко еще не окончил своего цикла. Цель впереди и видна, и далека.

И точно ли то цель, что ею кажется? То, что ею кажется, не косвенное ли только ее отражение? По крайней мере сомневаться можно в том, что весь ход побед народного языка над письменным должен состоять только в отвержении слов и грамматических форм, отвергнутых народом, или ему неизвестных. Указание одних только состязаний о словах и формах не может наполнить всю историю письменного языка в его соотношении с народным. Она не может довольствоваться тесным кругом грамматики и лексикографии; она должна обращать внимание на изменения языка письменного под зависимостью слога народного: на

постепенное усиление требований народного вкуса, народной риторики и пиитики, требований несравненно более законных и понятных, чем все требования риторик и пиитик, вымышленных книжниками. Ряд этих побед русского языка народного над ненародным гораздо важнее, занимательнее и даже утешительнее. Уже в периоде древнем народность боролась со вкусом византийским все более удачно. В XVI—XVII веках борение с латинским вкусом было еще удачнее. В XVIII веке началось влияние германское, а позже, во второй половине века, французское. То и другое было сильно, но было уже в то время, когда образованность привлекала к себе людей изо всех слоев народа, и следовательно не могла не становиться все более народною, своебытно русскою. То и другое влияние нового Запада довершило упадок вкуса средних веков, освободило вкус от ига несовременности и этим возбудило силы его против себя, само стало упадать все более... Цель побед вкуса народного, полное образование своебытного русского слога в книжном языке еще впереди; цель эта далека, но видна: и видна сама цель, а не призрак. Глядя с этой точки зрения на историю языка, нельзя не видеть ее близкой связи с историей литературы.

VII

С судьбами языка всегда остаются в близкой связи и судьбы литературы. Словесность народная, везде и всегда составляющая принадлежность необходимую жизни народной у самых необразованных народов, хранимая памятью народа без пособия письмен, принадлежащая к преданиям народа как часть одной нераздельной единицы, неразрывно связана с языком и народностью народа и совершенно зависит в судьбах своих от тех условий, которым подлежат и судьбы языка народа, и все главные черты его народности. Ее история, будучи рассматриваема отдельно от истории языка народа, всегда оставаться будет набором отрывочных замечаний, которым можно дать только внешний порядок повременный, но не общий смысл. Словесность письменная, книжная, литература, как ее обыкновенно называют, принадлежа не всему народу, а только части его, в своих направлениях и изменениях может подлежать многим условиям посторонним, внешним, не зависимым от обстоятельств, под влиянием которых находится масса народа, но и она в своем содержании и развитии представлена быть не может без языка, который избрала своим орудием, и, если этот язык происходит от языка народного, может быть рассматриваема исторически только вместе с историей языка. Старея по языку своему, она стареет и по духу; и как бы ни были превосходны некоторые из ее созданий, на них всегда остается отпечаток времени.

Те же периоды, которые резко отделяются в истории русского языка, нельзя не отделить и в истории литературы русской.

Периоду образования народного языка русского в его древнем, первоначальном виде соответствует период первоначального образования народной словесности; периоду отделения книжного языка от народного соответствует период отделения книжной литературы от народной словесности, а периоду возвратного сближения книжного языка с народным — период сближения книжной литературы с народной словесностью.

Для истории древней народной словесности русской прямых, непосредственных материалов менее, чем для истории народного русского языка; тем не менее есть средства и пособия дать ответы по крайней мере на главные из ее вопросов. Одно изучение тех памятников народной словесности, которые записаны в прежнее время или сохраняются доселе в памяти народной, изучение внимательное их характера, содержания и форм, подкрепленное знанием древностей русских, представляет возможность уразуметь главные черты древней народной словесности русской. Доказательства и объяснения выводов, сделанных вследствие этого изучения, находятся, с одной стороны, в памятниках древней и старой книжной литературы нашей, с другой — в памятниках книжной литературы и народной словесности наших западных соплеменников. Особенно важно сближение фактов, представляемых памятниками народной словесности разных славянских народов: факты эти, нисколько не противореча одни другим, дополняются одни другими взаимно, давая возможность изучать историю русской народной словесности с общей славянской точки зрения. Рассматривая эти факты в отношении к языку, их можно разделить вообще на два отдела: одни касаются гармонии языка, другие — слога.

Требования гармонии языка всего более отразились в сочетании слогов долгих и коротких, с ударениями и без ударений, в мерности речи. Образование мерной речи должно отнести к тому же отдаленному времени, когда язык у всех славян, еще не переходя в период превращений, продолжал развитие своих первоначальных древних форм. Это можно заключить отчасти по древним чешским памятникам IX — XIII веков, отчасти по сравнению разных славянских песен позднейшего времени. В тех и других главная идея о размере стиха повторяется одна и та же. Древнейший и у всех славян одинаково распространенный эпический стих заключает в себе десять слогов с двумя ударениями, так что или к каждому слогу, обозначенному ударением, относится одинаково по четыре слога без ударений (напр., ужъ какъ п*а*лъ туманъ на син*е* море), или же к одному из слогов с ударением относится три, а к другому пять слогов без ударения (напр., Aj Wl'*t*awo — če mutiši w*o*du. — Два се в*у*ка — у бърлогу к*о*љу). Древнейший и также у всех славян распространенный лирический стих заключает в себе шесть или восемь слогов тоже с двумя ударениями, так что к каждому принадлежит по два или по три слога без ударений. Позже появились стихи с тремя ударениями

в двенадцать и более слогов и с одним ударением на четыре и пять слогов. Каждая стопа, т. е. каждая часть стиха, отмеченная отдельным ударением и заключающая в себе определенное количество слогов, должна была быть и по содержанию отдельной частью мысли или фразы; с окончанием стопы должно было оканчиваться и слово. Место для слога с ударением сначала едва ли было определенное: ударение не могло быть только на первом и на последнем слоге стопы. Впрочем к древним чертам развития славянского стиха должно отнести старание поместить ударение как можно ближе к середине стопы; так в русском эпическом стихе слог с ударением издавна ставится в середине между двумя парами слогов без ударений. На том же условии соответствия, по которому в одном и том же стихе могла быть одна стопа о четырех, а другая о шести слогах, образовалось также издревле сочетание пар стихов, из которых в одном восемь, а в другом шесть, или же в одном семь или шесть слогов, а в другом пять или четыре. Вместе с парованьем стихов положено начало куплетам: два равные стиха составляли сами по себе куплет, так что к каждому стиху относилась половина музыкального напева; два неровные стиха сочетались с такою же другою парою неровных стихов, и в таком случае на половину напева приходилось по два стиха. Дальнейшее развитие форм куплетов принадлежит к позднейшему времени. Из этого надобно исключить только употребление припевов, которые издревле были в обычае не только при окончании куплета, но и каждого стиха и даже каждой стопы. Некоторые из этих припевов сочетались последними своими звуками с последними звуками той части стиха, за которой повторялись; это положило начало употреблению рифм. Нельзя сказать, что рифма есть изобретение новое: в древнейших пословицах славянских, сохранившихся у многих славян в одном и том же неизменном виде, видим рифмы; в сказочных присказках, не изменяемых по воле рассказчика, всюду повторяемых дословно, тоже встречаются рифмы. Тем не менее рифмование стихов в песнях есть явление позднее: многие славяне до сих пор или совсем не знают обычая украшать стихи своих песен рифмами или употребляют рифмы очень редко. У великорусов и у всех юго-западных славян употребление рифм очень мало обычно; у малорусов и у славян северо-западных, за исключением сербов-лужичан, рифмы очень употребительны, но и у них не везде: так между прочим, большая часть песен обрядных у всех народов славянских остается без рифм. До какой степени в древнее время имело участие в размере употребление гласных долгих, определить трудно, но сомневаться нельзя, что оно было издавна и впоследствии времени развилось очень сильно и в стихах, и еще более в мерной прозе. Это заключать можно по тому, что даже в прежних памятниках (напр., в некоторых поэмах чешской Краледворской рукописи) вместе со стихами правильно десятисложными попадаются довольно часто стихи менее и более чем в десять слогов; стихи менее чем в десять сло-

гов, перемешанные с десятисложными, показывают, что в них слоги долгие получали значение двух или трех коротких, а стихи более чем в десять слогов вместе с десятисложными могли быть допускаемы только в таком случае, когда несколько слогов коротких можно было считать как бы за один слог. Мерная проза старинных сказок у всех славянских народов представляет столько же осязательное доказательство тому, что в размере у славян издавна принято было в расчет различие слогов долгих и коротких; на основании возможности уравнивать по нескольку слогов коротких с одним долгим образовывались мерные фразы сказочного рассказа, равные одна другой по размеру, хоть и очень различные по количеству слогов. Различение короткости и долготы слогов развилось мало-помалу в языке так же, как и в музыке, где один и тот же отдельный звук может иметь значение и целого такта, и четверти его, и шестнадцатой доли, и более. Такую мерную прозу, вдобавок еще и рифмованную и правильно подчиненную музыкальному напеву, видим в малорусских „думах", в сербских „нарицаньях" над умершими, в некоторых хорутанских „певаньях" и пр. Свобода не соблюдать в стихах песен определенного количества слогов на определенное количество ударений вместе со свободой не соблюдать мерной речи в пересказе сказок увеличивалась все более, увеличивалась одновременно с отдалением языка от своего первообразного древнего вида, и язык народной словесности, удаляясь от древних условий гармонии, все более сближался с языком простого, обыденного разговора. Вследствие этого сделались возможными такие народные песни, которые отличаются от обыкновенной разговорной речи только музыкальным напевом и в которых выражения по своей форме так мало зависят даже от напева, что одну и ту же песню можно прилаживать к напеву и так и иначе, и вставляя слова, и выпуская, и меняя их порядок. У хорутан, между прочим, некоторые „певанья" поются так произвольно, что самые напевы от этого теряют свою мерность: один такт поется скорее, другой медленнее, иные такты опускаются, другие прибавляются. То же самое видим и в песнях наших русских слепцов: в некоторых остаются едва заметные остатки прежней стройности напева; в других на память о ней осталось только то, что они не просто говорятся, а напеваются, между тем как в этом напевании нет уже ни малейших следов мелодии.

Подобное превращение замечаем и в слоге произведений народной словесности. Рассматривая их в отношении к слогу, а вместе с тем и к содержанию в том виде, как они представляются теперь у разных славянских народов, замечаем, что их вообще два рода: одни отличаются эпической важностью изложения, художественным достоинством образов и выражений, другие, напротив того, шутливостью, нередко переходящей все границы приличий, как их понимает сам народ, или даже безобразностью образов и выражений. Те первые остаются собственностью всего народа, обоих полов, и повторяются или слушаются стариками

всегда одинаково, с такою же любовью, как и молодежью; эти вторые слышны более там, где народ позволяет себе не соблюдать привычных условий приличий. У некоторых славян более первых и менее последних, у других напротив, но не всегда так бывало. Чем где более первых, тем там более процветает народная словесность, все более обогащаясь памятниками, достойными внимания образованных людей, и с тем вместе более удержались вообще нравы и обычаи старой народности, а где их менее, там народ менее любит свою народную словесность, беднее в ней памятниками, не лишенными художественного смысла, и сохранил менее черт своей племенной общеславянской народности. Из этого одного можно заключать, что прежде, когда всюду у славян народные нравы и обычаи не были подвержены влиянию чуженародности, всюду у славян господствовало эпическое достоинство в произведениях народной словесности, а вместе с тем и народная словесность была богаче, необходимее для народа. То же самое доказывается и уцелевшими древними памятниками народной словесности славянской и историческими напоминаниями о них. Так, из летописей чешских и из памятников чешской письменности IX — XIII веков знаем, что чехи были в то время богаты народными эпопеями, в которых эпическое достоинство содержания и изложения своей художественностью во всякое время могло бы удовлетворить самому прихотливому требованию образованного художника; теперь же чехи в отношении к народной словесности беднее всех других славян: чех мало и поет, и мало рассказывает, мало припоминает и пословиц, и тем, что поет и припоминает в рассказе, редко может порадовать художественный смысл и свой и другого славянина. А между тем северный сосед чеха, серб-лужичанин, сохранивший более народности, хотя и более чеха образованный, все еще любит свои поэтические напевы и рассказы, не может жить без них и, несмотря на то, что многое уже утратил из памятников своей народной словесности, все еще богат ими и дорожит в них эпическим достоинством. Хорутанский словенец и карпатский словак также дорожат остатками своих старинных эпопей; по этим остаткам можно судить, что их эпопеи были столько же прекрасны, как и древние чешские. У поляка уже нет их и в остатках, но из летописцев знаем, что они были и что в них сохраняла память народа были отдаленной древности. Сербы богаты эпопеями еще и теперь, изумляя множеством их и художественностью содержания и слога всякого, кто сколько-нибудь привык понимать значение народной словесности. Эпическая народная словесность русская достойна не меньшего внимания; теперь она не так строго подчинена условиям меры стихотворной, богаче произведениями, сложенными мерной прозой, чем правильными стихами, но древний характер слога в ней все еще виден, а содержанием своим она обнимает почти все периоды истории народа. Как у русских, так и у других славян, сохранивших менее или более любовь к народной эпопее, со-

храняется в той же мере достоинство эпического слога и в других песнях. Напротив того, чем где менее любви к эпопее, тем менее там в народной словесности и того достоинства изложения, той отчетливости в выборе слов и выражений, которой дорожит народ, любящий свою словесность, как один из необходимейших элементов своей нравственной жизни. Удаление языка народной словесности от условий, сохраняющих в нем его эпическое достоинство, приближение к обыкновенному простому разговору так же важно, как и удаление языка ее от условий гармонии, от правильности размера. Нельзя при этом не заметить факта, повторяющегося в истории всех народов: народы, у которых языки еще не пережили периода превращения своих древних форм, сохраняют вместе в древними формами языка своего мерность его и важность изложения даже в простом разговоре. Впоследствии, с утратами древних форм языка, тратятся постепенно и условия мерности, тот важный слог, который, несмотря на различие влияния климата, народного темперамента и других обстоятельств, действующих на развитие народа, везде видим в древних памятниках словесности народной. Так и в древней русской словесности народной должно было господствовать эпическое достоинство слога, гармонировавшее с правильностию размера. Оно выражалось, как и в древней словесности других славянских народов, картинностью и отчетливой полнотой отдельных выражений и плавностью общего склада речи. Свобода опущения союзов, связывающих предложения в периоды, и свобода употребления предложений сокращенных допускалась так же, как и передача слов разных лиц, не стесняемая необходимостью обозначать, кто именно говорит то, что говорится, но и то и другое далеко не в той мере, как стало после. Склад речи не представлял тех долгих периодов, которые потом вошли в обычай в языке книг, но не было в обычае вести речь теми отрывочными предложениями, которых употребление сделалось так обще тогда, когда плавность эпического слога подчинилась влиянию слога разговорного. До нас не дошло — сколько до сих пор известно — произведений древней народной словесности нашей в неизменном виде, но и из тех сокращений их, которые сохранились в летописях и повестях, и из тех переделок их, которые сберегла память народная и старинные книжки, можем судить, что в русском народе было умение выбирать достойные предметы и содержание для народных эпопей и что в них было где развиться искусству слога. Что это древнее основание было прочно, это доказывают и создания народной словесности последующего времени — XVI и XVII веков — великорусские „былины“ о временах Иоанна Грозного и самозванцев и малорусские „думы“ о событиях униатской войны. Менее художественности изложения и слога видим в созданиях новых, так же как менее и правильности размера.

Несомненным считать можно, что в то время, когда началась на Руси письменность христианская и книжная литература, народ-

ная словесность русская была столько же богата содержанием и жизненной силой, сколько и язык — древними формами и силой выражать народные думы и были словом мерным и изящным. И как не имела нужды письменность чуждаться форм народного языка, так не имела она нужды чуждаться и форм народного слога: слог и язык были одинаково сообразны с требованиями ее приличий. Не только в подлинных произведениях русских книжников, но и в переводах, чем они древнее, тем более видим народности в выражении мыслей и образов. Менее всего была возможна народность слога в переводах произведений духовной литературы, но и в них встречаются иногда покушения сохранить ее. Более народности слога видим в поучениях наших древних учителей, там, где они не передавали дословно чужих мыслей и выражений, еще более в таких произведениях, как Духовная Владимира Мономаха, Слово Даниила Заточника, Хождение Даниила Паломника и т. п. Всего более в летописях и повестях. В летописях она тем более сильна, чем подробнее пересказаны события, чем более мог летописец увлекаться своим рассказом. Тою же народностью проникнут слог и Слова о полку Игореве, хотя на него и налегла в некоторых местах рука книжника позднейшего времени, как налегла она не раз и на рассказы летописные. В повести о побоище Мамаевом видим уже борение народного слога с искусственным книжным; в повести об осаде Пскова — полную победу последнего. Старание книжников удержать в книге древний язык, поведшее за собой удаление книжного языка от народного, повело за собой и удаление от народного слога. А так как творения отцов церкви и греческих богословов и ученых не могли не цениться более произведений домашних, так как образцов и языка и слога в то время, когда язык книг отстал уже от народного, не могли не искать в переводах этих творений, так же слабо отразивших на себе древнюю народность слога, как усильно передавших слог подлинников, то в книжной литературе русской не мог не укореняться все более слог нерусский. Этим преобладанием требований литературы греческой в книжной литературе средних веков, все более утверждавшимся, объясняется и то отсутствие в ней стихотворного отдела, которым она так отличается от литератур западных того времени. С одной стороны, в Византии не цвело стихотворство, стихотворцев-художников не было; не было их между книжниками и там, где господствовало влияние Византийской литературы. Как не было литераторов-стихотворцев на Руси, так не было их и у сербов православных, и у болгар, между тем как у сербов в приморье адриатическом расцвело стихотворство уже в XV веке. Из этого не следует заключать, что и у сербов и болгар, и у нас не было прежде любви к стихам в народе: песни пелись более чем после, в них повторялись и дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, и события современные; но книжной литературе, организованной в своем составе по мерке византийской, до них не было дела. С другой

стороны, между тем как размер народного стиха не мог в ней казаться приличным, не мог тем более, чем более отделялся язык и слог этого стиха от языка и слога книжной прозы, не могли утвердиться в ней и размеры стиха, допущенные пиитикой византийской: они были слишком ненародны, слишком дики для смысла русского человека. Как не могла русская литература допустить из народной словесности ничего, что явно противоречило требованиям литературы византийской, так не могла она допустить и из византийской того, что явно противоречило народному вкусу. Были, правда, попытки подражать и греческим стихам, но попытки слабые, увлекшие очень немногих. До XVI—XVII века литература русская оставалась без стихотворного отдела. Только с ослаблением византийского влияния на нашу литературу могло прекратиться в ней отречение от стихотворного лада, только вследствие сближения русской литературы с западной Европейской, где господствовали размеры стихов, более сходные с нашим народным, и где более было развито искусство пользоваться ими для произведений поэзии, могло возродиться стихотворное направление в нашей литературе.

Не питаемая народной почвой, литература русская, вместе с языком своим, отчудилась от народа; удаленная от современности в отношении к развитию понятий о требованиях вкуса, оставаясь неизменно при одних и тех же образцах и вместе с творениями, которые навсегда сохранят свое художественное достоинство, считая за образцы такие произведения, в которых изложение и образ выражения только в силу давней привычки могли казаться достойными подражания, она остановилась в своем развитии. Так должен был окончиться для нее первый период вместе с первым периодом истории книжного языка...

И как для языка, так и для литературы прежде окончания этого периода начался новый — период ее возвратного сближения с народным вкусом, с условиями народной словесности. Между тем как в народе все более распространялась образованность, все более пробуждалась и потребность литературы, которая была бы народу своя и по духу и по языку. Бессознательно стали некоторые ученые вводить народный элемент в язык книжный; так же бессознательно вводили вместе с народным языком в литературу и народную мысль. Тому и другому мешало отчасти сближение с Западом... Влияние византийское еще не окончилось, как началось влияние западной литературы: сначала новая латинская, позже немецкая, еще позже французская и английская литература подчинили нашу литературную деятельность своим требованиям до такой степени, что не только в XVII—XVIII веках, но даже и позже, даже еще и недавно считалось у нас необходимым следовать им как безусловным законам и считать в литературе позволенным только то, что не нарушало их, и все, что ими дозволяемо было. Как прежде не могло не казаться диким и противозаконным всякое нововведение, нарушавшее силу веками утверж-

денных правил изложения и выражения, так после дико и противозаконно стало не изменять своих понятий об искусстве писать сообразно моде, на короткий срок утверждавшей свое господство на Западе. Это пристрастие к модам литературным, рождающимся и умирающим вне всякого соотношения с развитием наших домашних понятий о народности и условиях вкуса или нашей народной образованности, это пристрастие к чужому западному в литературе остается у нас еще и теперь. Но и теперь и прежде оно мешало развитию народного вкуса только до некоторой степени. Во влиянии Запада и то уже было в пользу развития нашей литературы, что оно утверждало в ней силу современности. Притом же это не было влияние одного какого-нибудь народа, а соединение нескольких различных влияний, взаимно одно другое ослаблявших. С развитием образованности народной каждое из них все более применяемо было ко вкусу народному и вызывало его косневшую силу к деятельности. Новая мода убивала силу влияния, защищаемого прежней модой, но убивало только силу, исчужа пришедшую, а не ту долю народного вкуса, которая пробуждена была ею к жизни. По этим частным долям вкус народный проникал все более в литературу, так же как по частным долям медленно и, однако, все более проникал в книги язык народный. Усиление народности языка и слога, вкуса и понятий было в литературе нашей одновременно. И как ни далеки друг от друга кажутся вопрос о развитии литературы и вопрос о развитии языка, тут они сходятся в один нераздельный. Главные эпохи нашей новой литературы, эпохи Прокоповича и Кантемира, Ломоносова и Сумарокова, Державина и Фонвизина, Карамзина и Крылова, Жуковского и Пушкина — это эпохи развития народности в книжном языке более даже, чем эпохи усовершенствования литературы по ее содержанию, эпохи развития народности литературного языка в отношении к словам и оборотам, к складу и слогу и т. п. Переходя с одной из этих эпох на другую, наша литература восходила как по ступеням все выше к своей цели. Цель еще впереди и далека, но видна. Увлечение Западом остывает; сознание своих собственных сил зреет все более. Подражать чужому, как прежде подражали, мы уже не можем, не умеем. Наша ученость и наша беллетристика, наши взгляды на предметы науки и искусства похожи на западные, но отличаются от них, так же как и народность наша отличается от западной. Часто против воли нашей мы остаемся тем, чем созданы, бессильно стараясь быть иным, и возвышаемся к самобытности, нимало не поддерживая себя подпорой, на которую стараемся опираться. Еще народный русский склад речи не считается годным для важных истин науки, еще народный русский размер слишком прост для высокой поэзии, но и тот и другой уже получили законность в литературе, уже стали необходимы. Достигнувши самобытности в литературном языке, мы достигнем самобытности и в литературном вкусе и будем наконец иметь свою русскую литературу — не по одному звуку, но и по духу

Само собою разумеется, что как странно, невозможно, не должно достигать в книжном языке полной простонародности слов и оборотов, отвергая от него все, чего нет в языке простого народа, и вводя все, что в нем есть, так странно, невозможно, не должно ограничивать и круг литературных идей только тем, что не чуждо в этом отношении народу. Останется и вновь прибавится в нашем книжном языке, чего не было и не будет в языке простого народа, и все-таки он будет народным по духу, вполне русским; останется и вновь прибавится и в содержании литературы нашей, чего не было и не будет в изустной словесности простого народа, и все-таки она будет народной по духу, вполне русской — будет, когда язык ее сделается народным.

Теперь мы в счастливой поре пути к этой желанной цели. Нет в литературе нашей деятелей гениальных, одинаково и сильно даровитых, и образованных, и неусыпных к труду, каковы были в свое время Прокопович, Ломоносов, Карамзин, но есть много деятелей, приготовляющих своею деятельностью поприще для преемника этих исполинов нашей литературы. Деятельность литературная все более получает характер отчетливости, сознательности, стройности. Стройности мешает, конечно, с одной стороны, вольное и невольное отрешение большей части ученых литераторов от старания привлекать к себе общее внимание, с другой стороны — вольное и невольное отрешение большей части литераторов-беллетристов от старания писать не для одного дня, от увлечения своим делом, так делом самого тяжелого из художеств. Одни пишут менее и медленнее, чем бы должны были и могли, будто жалея расставаться с трудом привычным, другие гораздо более и скорее, торопясь оканчивать начатое и будто боясь не начать неначатого. Стройности мешает и недостаток критики: кто бы мог быть судьею, часто молчит; кто, без обиды себе, сам себя может считать вне права судьи, часто судит с полной решимостью решать дело своим приговором. Все, однако, нельзя не видеть стройности в деятельности литературной. Произведения долголетних трудов выходят одни за другими постоянно и все чаще; принимаются иногда холодно, оценяются иногда легкомысленно, но это не ослабляет деятельности преданных таким трудам. Произведения легкие, как ни спешно пишутся, пишутся нередко с той внимательностью, которая недалека от художнического навыка и старания искать лучшего. Пишут не все, кто может, и не всякий может, кто пишет; но иначе и не может быть там, где в обществе литература сделалась потребностью и вместе развились литературные понятия: сила потребности не может не возбуждать охоту трудиться в непризванных, а сила требований не может не отвлекать от труда и призванных, если они не уверены в своем умении угодить этим требованиям. С каждым годом выступают на поприще деятельности литературной новые ряды молодых людей, у которых дарования подкрепляются основательной обра-

зованностью, знанием языков и литератур иностранных... Литературные мнения в обществе упрочиваются... Всего утешительнее в нашей современной литературе направление ученое, все более в ней укореняющееся и помогающее развитию нашей народной науки русской. Русская история, памятники русской древности и старины, памятники русской народности, народная русская словесность, история русской литературы несравненно более всего другого обращают на себя внимание и литераторов и следящих за литературой. Не мог вне этого внимания остаться и русский язык — для одних как орудие литературы, для других как предмет науки. Академия не напрасно поспешила изданием словаря, в котором все нуждались, и деятельно продолжает свои труды, зная, как они необходимы при современном состоянии литературы, а между тем постоянно появляются труды частные, обогащающие новыми материалами и исследованиями науку русского языка. Не забыта, между прочим, и история русского языка. Карамзин первый указал на эту часть русской науки. Востоков, Калайдович, Греч, Рейф, Павский, Давыдов, Полевой, Надеждин, Погодин, Шевырев, Снегирев, Сахаров, Бередников, Катков, Буслаев, Аксаков и другие содействовали к развитию понятий о ней — одни изданием памятников языка, другие замечаниями о развитии его строя и состава. Запас пособий для истории русского языка уже довольно велик; он все более увеличивается под покровом правительства, заботящегося об издании памятников отечественной старины; в то время, когда вся русская наука вызывается к свету постоянно возрастающим к ней сочувствием общества, история русского языка, как необходимая часть русской науки, не может остаться в тени. Время для ее обработки настало, и не напрасны будут усилия всякого, кто с любовью посвятит ей свое время, знания и дарования. Не напрасны, потому что для одних предварительных трудов по истории русского языка надо много времени и многих дарований. Труды эти разнообразны и не для всякого легки, требуют много навыка и терпения, много внимательности и осторожности, много любви к филологическим работам, хотя и важным но, по-видимому, мелочным, скоро утомляющим того, кто за ними забывает о цели, к которой ведут они. Для того, чтобы материалы для истории русского языка были приготовлены вполне, нужно многое...

Каждый из старых памятников языка должен быть разобран отдельно в отношении лексикальном, грамматическом и историко-литературном. По сличении лучших списков надобно составить для него особенный полный и подробный словарь, не пропуская ни одного слова, ни одного оттенка его значения, и особенную полную и подробную грамматику, не пропуская ни одной формы, ни одной особенности формы. В том и другом должно быть отмечено влияние чужестранных языков. То же влияние иностранных элементов должно быть отмечено и при историко-литературном разборе памятника со стороны его содержания, изложения и слога.

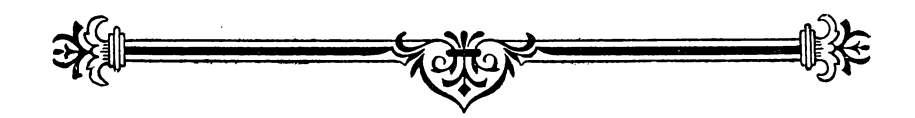
По каждому из наречий русских и их местных оттенков должны быть составлены отдельно словари и сборники образцов из песен, пословиц, сказок, разговоров и т. п. и для каждого отдельно особенная грамматика с разбором памятников народной словесности в отношении к слогу, мере, формам изложения и содержанию. Развитие языка в местные видоизменения должно быть исследовано в частных монографиях так же отчетливо, как и развитие языка повременное по памятникам, оставшимся от разных веков. Влияние элементов иностранных должно быть отличено в каждом наречии и местном говоре отдельно.

Современный язык литературы и образованного общества должно разобрать также отдельно и подробно в отношениях лексикальном, грамматическом, литературном, не забывая ни писателей образцовых, заботившихся о своем языке и слоге, ни писателей небрежных, бессознательно повторявших худое и хорошее из привычек языка книг и общества, не забывая также влияния иностранного, вольно и невольно проникавшего в состав и формы языка, в слог и т. д.

Только вследствие такого отчетливого монографического перебора памятников языка старого и современного, книжного и народного возможно составление исторического словаря и исторической грамматики; и только вследствие соображения материалов, собранных в таком словаре и в такой грамматике, возможно приступить к полной и подробной истории языка. Не помешают, конечно, попытки написать историю языка и прежде полной обделки всех этих материалов, но ранее или позже материалы должны быть приготовлены...

И всех этих материалов будет еще мало для того, кто займется историей русского языка, как трудом, достойным своего предмета по исполнению. Русский язык не может быть рассматриваем исторически отдельно от других соплеменных наречий и сродных языков; несмотря на множество филологических трудов иностранных, которые облегчат сличения русского языка с другими, придется трудиться и самим русским, дополняя массу собранных материалов. Так, между прочим, по некоторым из наречий славянских еще нет словарей и грамматик, годных для филолога, и едва ли кто другой, кроме русских филологов, может за них взяться. И общим сравнительным словарем всех славянских наречий заняться едва ли кому удобнее, как русскому ученому, который всегда может посвятить себя этому огромному труду...

Разнообразны и огромны труды, без которых невозможно написать полную историю русского языка, но и сама она так важна, так необходима, так достойна общего внимания, что для трудов этих всегда будут люди с умением и охотой за них взяться... И раньше или позже из-под пера писателя, овладевшего совестливо и отчетливо вопросами истории русского языка и средствами для их решения, она выйдет картиной, столько же богатой содержанием, сколько и занимательной для всех нас, любящих свое отечество и его прошедшее.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

И. И. Срезневский

О ДРЕВНЕМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ[1]

Участие уже довольно многих изыскателей, особенно со времени Карамзина и Востокова, содействовало к объяснению памятников древнего русского языка, но общие выводы о нем, о соотношении языка памятников с языком народа того самого времени, когда они писаны, еще не достигли желаемой твердости и несомненности. Рядом, а иногда и нераздельно вместе со строго учеными наблюдениями встречаются и предположения, не строго выведенные из наблюдений, и не побеждена еще возможность решать самые важные вопросы совершенно произвольно, так сказать, эклектически, выбирая из высказанного другими только то, что случайно нравится, и отвергая без доказательств то, что не нравится. Все это тем более возможно, что точное определение принадлежности древнего русского языка, действительно, очень трудно — и по множеству памятников, и по смешению в них элементов народных и ненародных, не всегда резко противоположных.

Такое положение науки нашей относительно языка древних памятников русской письменности заставляет желать всякого, кто с любовью занимается изучением отечественной древности, чтобы выводы о древнем нашем языке книжном и народном были высказываемы отдельно от разбора памятников сводными положениями, разумеется, с подведением доказательств. Каждое соображение, совестливо высказанное исследователем, знакомым близко с делом, должно непременно пролить свет, пробудить мысль, а вместе и труд, и тем более достойно уважения, чем менее подчинено условиям эклектизма.

Признавая нужду общих соображений о языке древних памятников русской письменности, Второе отделение Академии всегда с радостью давало им место в своих чтениях. К числу очень замечательных записок в этом роде принадлежит та, которая получена Отделением ныне от его достойнейшего сочлена М. П. По-

---

[1] Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности, т. V, 1856, столб. 65—70.

година, оказавшего уже столько услуг возбуждением мыслей о самых важных предметах древностей русских; она возбудит, конечно, и мысль и труд.

Будучи изложена отчасти в форме замечаний на то, что высказано было в „Мыслях об истории русского языка“, записка М. П. Погодина опровергает некоторые выводы, а другие самостоятельно поддерживает новыми доказательствами. Чтобы яснее видно было, как именно отличны понятия, высказанные М. П. Погодиным, от того, что доказывалось в „Мыслях“, здесь представляется краткий перечень убеждений, высказанных в этой книге.

1. Древний народный русский язык отличался от древнего церковнославянского очень немногими особенностями употребления звуков и грамматических форм.

Звуков. В древнем русском не было носовых гласных: *у*, *ю*, ꙗ заменяли ц.-слав. ѫ, ѭ, ѧ, ѩ (дубъ, имѣю, мꙗсо, ꙗгнꙗ). Глухие звуки *ъ* и *ь* при соединении с *р* и *л* произносились почти исключительно перед этими гласными, а не после (г*ър*дъ, в*ьр*хъ, п*ъл*къ, м*ьр*тъвъ) — *о* в начале слов стояло там, где в ц.-слав. было ѥ (осень, осетръ) — *оро*, *ере*, *оло* господствовали вместо ц.-слав. *ра*, *р*ѣ, *ла*, *л*ѣ (зд*ор*овъ, б*ер*еза, в*олод*имеръ, п*олон*ъ), впрочем неисключительно. — Звуков согласных средних (вроде западного европейского *l*) не было, и потому слоги твердые не смешивались с мягкими; а вследствие этого между прочим и глухие гласные звуки *ъ* и *ь* правильно отличались[1]. Звуки *з*, *ц*, *с* выговаривались и твердо и мягко (заяць, зꙗть), и потому правильно соединялись с гласными (кънꙗзь, кънꙗзꙗ, кънꙗзю, а не кънꙗзу). Производные звуки ц.-слав. *жд* и *шт* выговаривались или навыворот, как *тш* = *ч*, *дж* = *ж*, или троезвучно, как *штш*, *ждж* = *жч* (ночь, дажь, дъжчь), и проч.

Грамматических форм. В склонении прилагательных и причастий определенных употребительна была местоименная форма (великого, чюжего), впрочем неисключительно. — Причастие действительное настоящее в первообразных глаголах оканчивалось в имен. пад. муж. рода более на *а*, тогда как в ц.-слав. только на *ы* (жива, мога). — Третье лицо изъявит. наклонения в един. и во множ. оканчивалось и в прошед. врем. на *ть* (доидеть, прославить, купить, дѣꙗшеть, бꙗхуть). — Глагол существ. в настоящ. времени изъяв. накл. мог пропускаться, особенно в третьем лице един. числа; от этого образовались особенные отличия формы предложений (попомъ пѣти вьседеньнаꙗ, начꙗти сꙗ той пѣсни по былинамъ) и пр. Важнейшие признаки определенности грамматического строя принадлежали древнему русскому и древнему церковнославянскому одинаково. Таковы: 1) наращение в склонении,

---

[1] Памятники, подобные грамоте 1228 г. или Грамоте Варлаама, наводят мысль на влияние иностранное, которое могло сделаться обычным кое-где для кое-кого, в том роде, например, как у сербских монахов вошло в обычай произносить некоторые звуки совершенно иначе, чем произносит народ.

2) отличие склонения неопределенного и определенного, 3) две формы неопределенного наклонения, 4) две формы прошедшего простого, 5) различные сложные формы времен изъявительного наклонения, 6) особенные формы для разных лиц повелительного наклонения, 7) двойственное число в склонении и в спряжении, 8) употребление местного падежа и без предлога (Кыѥвѣ, лѣтѣ), 9) дательный самостоятельный (Володимеру кнѧжѧщю, солнцю выходѧщю) и пр.

2. С таким богатством строя оставался русский народный язык до XIV века, впрочем, не неподвижно, все более удаляясь от первобытной правильности употребления форм; XIII—XIV века были и для него, как для некоторых западнославянских наречий, временем решительного перехода к иному строю, выказавшему резко все свои особенности в XV—XVI веках. Это время — XIII—XIV века — было и временем образования местных наречий, великорусского и малорусского, как наречий отдельных. Некоторые особенности местных говоров появились очень рано (напр., употребление *ч* вм. *ц* и *ц* вм. *ч*: ручѣ, отчю, цинъ, цьстьнъ, смешение *у* и *в*: вдобь, оуспѧть и т. п.), но только говоров, а не наречий. Повсюдные отклонения от древнего строя языка, сравнительно с местными отклонениями, выражали себя яснее. Между такими отклонениями замечаем некоторые грамматические довольно важные, например: 1. Смешение звательного падежа с именительным (зри, братъ, отцѧ наю). 2. Употребление формы имен. падежа для винит. в сущ. жен. рода (взѧти гривна, дати порука). 3. Употребление деепричастия (кнѧзю продажѣ въ челѧдинѣ или украдъше, вывести ѥму послухъ передъ кымь купивъше). 4. Употребление сложных времен вместо простых и, между прочим, сокращенно, т. е. с пропуском существ. глагола ѥсть (за тот миръ страдал, ѧзъ далъ) и пр. Нельзя сказать наверно, когда именно какая форма древняя заменилась у нас новою *навсегда, исключительно*, как нельзя, например, сказать, когда именно в германских языках введен член или когда именно в сербском смешались в одно дательный, творительный и предложный множ. числа, когда именно в чешском, польском и лужицком стали выговаривать мягкий *р* (*рь*) шепеляво; но из того, что употреблялась уже новая форма, еще не следует заключать, что формы древней уже не было, как не следует заключать, что серб, говоря теперь *био сам* (былъ ѥсмь), уже не говорит *бих* и *биѧх* (бѧхъ, бѣѧхъ). Смешение форм, отживающих век с начинающими жизнь, есть принадлежность переходного состояния языка так же, как и всего другого; для нашего русского языка это переходное время выразилось резкими чертами в XII—XIV веках и более для всего языка, чем по наречиям местным.

3. Книжный язык отличался от народного, без сомнения, всегда, но в X—XIV веках отличия одного от другого у нас заключались более в привычках слога, чем в грамматических формах. От близости строя русского народного языка с языком книг церковнославянских, к нам занесенных, зависело то, что сколько ни

мешались один с другим в произведениях нашей письменности элементы старославянский книжный и русский народный, язык этих произведений сохранял правильную стройность всегда, когда вместе с элементом старославянским не проникал в него насильственно элемент греческий, византийские обороты речи, византийский слог и когда притом писавший им был не чужестранец, не умевший выражаться правильно по-славянски. Прочное начало образования книжного русского языка, отдельного от языка, которым говорил народ, положено было в XIII—XIV веках, тогда же, как народный русский язык подвергся решительному превращению своего древнего строя. В XIV веке язык светских грамот и летописей, в котором господствовал язык народный, уже приметно отдалился от языка сочинений духовных. В памятниках XV—XVI веков отличия народной речи от книжной уже так резки, что нет никакого труда их отделять.

Эти положения доказываются:

1. Сравнительным изучением славянских наречий, из которых всякое пережило так или иначе свой век перехода от древнего строя к новому. Важнее всего, разумеется, те наречия, по которым есть и памятники древние. Таково наречие чешское. (В приложениях к „Мыслям“ представлены отрывки из памятников западнославянских с указаниями постепенного увеличения отклонений от древнего строя.)

2. Памятниками книжного старославянского языка, переписанными на Руси в XI—XIV веках. Писцы, переписывая, отступали от подлинника и с намерением и нечаянно, в том и другом случае выражая русский элемент (на это обратил внимание А. X. Востоков уже давно).

3. Памятниками народного русского языка XII—XIV веков, на которых или совсем или почти совсем не налегло влияние книжное. В одних из них заключаются постановления и распоряжения, потому господствует наклонение повелительное и условные времена изъявительного; в других передаются воспоминания о прошедшем, и потому господствуют прошедшие времена изъявительного. Отсюда кажущаяся разница языка тех и других. (В приложениях к „Мыслям“ представлен разбор важнейших русских памятников XII—XIV веков с указанием особенностей строя народного языка.)

4. Новым народным языком с его местными видоизменениями. Он сохранил доселе по местам довольно много остатков древности и вместе с тем чертами своего развития на наречия и говоры, если рассматривать их сравнительно, дает ясное понятие о том, чем был он прежде, до разветвления своего.

Эти источники могут, вероятно, привести исследователя и не к тем выводам, которые высказаны в „Мыслях“, но ранее или позже приведут и к истине.

ЯЗЫК ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ[1]

Рассматривая Повесть временных лет в отношении к языку, видим постоянное смещение двух наречий, церковнославянского и русского, как будто бы это был один язык, вроде, например, французского, в котором неотделимо соединены элементы языка собственного французского — народного с латинским — книжным ...

По местам кое-где заметно более влияние церковнославянское, а кое-где более влияние русское, но нигде нет ни того ни другого наречия отдельно.

Таков вообще, вероятно, и был язык подлинной летописи. Нельзя, впрочем, утвердительно сказать, что он был именно таким и во всех мелочах, каким мы его видим в уцелевших списках. Самое разнообразие списков свидетельствует о противном. Позволительно думать, что вследствие изменений подлинника, которые деланы были писцами, появилось и кое-что как славянское, так и русское, чего не только не было, но и не могло быть в подлинной летописи XII века. Так, между прочим, есть местоимение *я*, которое в других памятниках, не только древнейших, но и XII—XIV веков, почти постоянно заменялось местоимением *азъ*, *язъ*.

Что на язык нашего древнего летописца должна была налечь сила книжного языка старославянского, это не удивительно: все стремления образованности того времени этого требовали. Удивительно скорее то, что, несмотря на все требования образованности, русский летописец мог задерживать в своем языке его русские особенности; их так много, что выкинуть их, как попытался было Миклошич (в своем издании Повести временных лет), значит переделать язык и его выразительность ...

Слов русских, сходных по значению со словами более северо-западных славян, чем с теми, которые находятся в памятниках церковных, много. Летописец выражал обстоятельства жизни теми самыми словами, которыми они выражались в самой жизни. Когда же он хотел быть красноречивее, то употреблял, более во вставных фразах и периодах, выражения из языка церковного.

На каком же языке писаны наши летописи? На славянско-церковном, смешанном с русским, или же, напротив, на русском, смешанном с церковным? Думаю, что на русском. В книгах церковных язык церковный подчинялся некоторым прихотям русского выговора; в летописях древних язык русский подчинялся прихотям церковного красноречия, которое простиралось иногда и на самый выговор. Это последнее видим и на нашем современном

---

[1] Приводятся отрывки из 4-й части „Чтений о древнерусских летописях. Повесть временных лет“, впервые опубликованных в „Известиях отделения русского языка и словесности АН“, 1903, кн. 1, стр. 166—173. „Чтения“ написаны Срезневским в 1860-х годах.

языке, литературном. Но постоянное правильное употребление прошедшего простого и двойственного числа — разве не признак церковного языка? Почему же признак? Потому ли, что теперь мы в своем языке этого не имеем? Если только потому, то это не доказательство. А отчего, скажут, рядом с правильным употреблением этих форм летописец часто ошибался в склонении причастий? Отчего употреблял деепричастие? Отчего он и в этом не держался безошибочности церковного языка, если писал им? Это было не труднее. Нам теперь и то и другое одинаково трудно без особенного навыка. Древнему летописцу легче даже было ошибаться в двойственном числе, как редко употреблявшемся, чем в причастии, к которому легко бы, казалось, можно было присмотреться. Не значит ли, что летописец ни к чему не присматривался, а писал так, как случилось, заботясь не о правильности языка церковного, а о достоинстве слога и черпая для этого из церковного языка так же, как делаем это мы и теперь.



Приложение № 2

ЛЕКЦИИ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗАПИСИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Ниже впервые публикуются по рукописи из архива И. И. Срезневского, хранящейся в Архиве Академии наук СССР (ф. 216, оп. 3, № 728), отрывки из записок курса истории русского языка, читанного И. И. Срезневским в 1849/50 г. в Петербургском университете. Эти записки были составлены Н. Г. Чернышевским. В дневнике Н. Г. Чернышевского, относящемся к его студенческим годам, есть указания на то, что он начал составлять их по просьбе Срезневского 22 сентября 1849 г., а в марте 1850 г закончил составление и отнес рукопись Срезневскому.

Изучение этой рукописи [1] показывает, что по своему содержанию, основным идеям и темам курс 1849/50 г. находится в ближайшем отношении к „Мыслям об истории русского языка". План изложения курса в целом соответствует „Мыслям". Более того, многие места записок, подготовленных Чернышевским, буквально повторяют изложение книги. В этом нет ничего удивительного, так как из дневника Чернышевского известно, что при подготовке этих записок он пользовался корректурами книги, которые в это время помогал править Срезневскому, и дополнял по ним сделанные им записи курса [2]. В ряде других мест записки представляют лишь незначительные вариации к изложению „Мыслей".

Тем не менее материалы записок представляют бесспорный интерес и дополняют наши представления о Срезневском как историке русского языка в период создания и публикации им его основного научного произведения. В ряде мест изложение запи-

---

[1] Рукопись беловая, переписанная почти без помарок четким, тщательным почерком Чернышевского; содержит 106 листов большого формата, заполненных текстом с обеих сторон с большими полями. На первых листах рукописи имеются некоторые исправления и вычеркивания, сделанные другими чернилами, рукою И. И. Срезневского. На полях рукописи в нескольких местах имеются вставки в текст, сделанные также Срезневским. В Центральном литературном архиве в Москве (ЦГАЛИ) хранится рукопись, содержащая часть черновой записи этого же курса. Эти черновые записи лекций были сделаны Чернышевским с помощью оригинальной системы шифрованной скорописи, применявшейся им. Они расшифрованы Н. А. Алексеевым.

[2] В рукописи эти вставки по корректурам книги отмечены обычно тем, что соответствующий текст выходит на поля листов рукописи.

сок более или менее существенно отличается от соответствующих разделов „Мыслей“. Из общего объема рукописи в семь печатных листов примерно три с половиною листа дают текст, отсутствующий в книге или варьирующий ее изложение.

Отметим прежде всего, что по своему содержанию записи соответствуют лишь первым шести главам книги. Содержание последнего, седьмого раздела, посвященного историческому обзору русской словесности в связи с историей языка, не нашло себе отражения в этих записках. Зато в изложении других разделов, особенно в первом, втором, третьем и шестом, представлены значительные эпизоды, отсутствующие в изложении этих глав книги. Немало этих расхождений с текстом „Мыслей“ и в тех разделах, которые соответствуют четвертой и пятой главам книги, но здесь они носят более частный характер. Во многих случаях изложение записок конкретнее и детальнее изложения книги, более насыщено языковыми примерами и иллюстрациями, что естественно, так как в своей книге Срезневский, воспроизводя сложившуюся у него в процессе университетских чтений концепцию истории русского языка, стремился изложить ее по возможности сжато и обобщенно. Другие отрывки, представленные в записи курса и отсутствующие в изложении книги, касаются общих вопросов. В этом смысле записки дают дополнительный яркий материал для характеристики общеязыковедческих позиций Срезневского, в частности — прямо указывают на научные источники, под влиянием которых его взгляды складывались. Отдельные места из записок, приводимые ниже, характеризуют отношение Срезневского к крупнейшим представителям западноевропейского языкознания и сравнительной грамматики индоевропейских языков, к В. Гумбольдту, Боппу, Потту и особенно к Я. Гримму. В изложении курса чаще являются сопоставления с фактами других языков (неславянских и не только индоевропейских) при характеристике общих процессов исторических изменений русского языка. Не трудно заметить также, что в изложении курса о некоторых, особенно занимавших и волновавших Срезневского вопросах, — например, об отношениях литературного и народного языка, о сложной эволюции русского литературного языка после XIV века, — говорится не только несколько подробнее, но и определеннее, менее сглаженно и „дипломатично“, чем в актовой речи, легшей в основу книги. Интересны и те эпизоды курса, где Срезневский делится со своими слушателями некоторыми подробностями из круга своих научных занятий (см., например, дополнения к вопросу об офенском языке), касается своих отношений к крупнейшим зарубежным славистам его времени (например, к П. Шафарику, В. Копитару), прямо полемизирует с отдельными выводами современных исследователей (напр., с Г. Павским, Копитаром). Вообще изложение записок в ряде случаев характеризуется большей непосредственностью и рельефностью. Перед нами — отражение живой речи талантливого профессора. Сказалось здесь

бесспорно и мастерство литературной записи Чернышевского. Не трудно в таких случаях узнать излюбленную им манеру научного рассуждения, избирающую для большей определенности изложения иногда несколько грубоватые, подчеркнуто простые, но всегда образно-рельефные слова и обороты.

Записки Чернышевского дают новые штрихи к характеристике его университетских занятий и к истории его взаимоотношений со Срезневским. Познакомившись с лекциями нового профессора, только что перед этим появившегося в Петербургском университете, Чернышевский сообщает своим родителям: „Он хорош, конечно" (Письмо от 8 марта 1847 г.)[1]. Три года спустя, 13 марта 1850 г., записывая в своем дневнике об окончании лекций Срезневского для своего выпуска, Чернышевский замечает, что осталось сожаление, что „перестал быть его слушателем ... должно быть, оттого, что он слишком горячо любит свою науку"[2]. В течение этих лет отношения студента и профессора были тесными и теплыми.

И. И. Срезневский группировал вокруг себя талантливую молодежь, заражая ее любовью к филологии и вовлекая в круг своих научных занятий. В эти первые годы занятий своих в Петербурге он больше всего возлагал надежд на Чернышевского и его сокурсника, рано умершего талантливого филолога Н. П. Корелкина.

В многосторонних и тогда интересах и занятиях Чернышевского вопросы филологии, русско-славянского языкознания занимали большое место. Эти интересы в значительной мере подкреплялись и возбуждались искренней симпатией к лекциям талантливого профессора, близостью к нему. По предложению Срезневского Чернышевский составил оригинально задуманный и выполненный словарь к Ипатьевской летописи. Срезневский же всячески побуждал Чернышевского по окончании университета готовить магистерскую диссертацию по славянскому языкознанию. Но к этому времени в мировоззрении Чернышевского уже совершился решающий перелом, его неотразимо влекло к более широкой общественной деятельности. В письме к родителям от 15 ноября 1849 г. он уже делится своими сомнениями: „По какому предмету держать (на магистра. — *Ю.С.*)? Я не знаю еще. По близким отношениям к Срезневскому, который так и затягивает в возделыватели того поприща, которое сам он избрал, может быть, придется держать по славянским наречиям, хоть этот предмет сам по себе меньше следующих (далее говорится о литературе и истории. — *Ю.С.*) привлекателен для меня"[3].

С окончанием университета связи Чернышевского со Срезневским слабнут и обрываются. Но серьезное внимание к вопросам

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, М., 1949, с. 119.
[2] Указ. изд., т. I, М., 1939, с. 365.
[3] Указ. изд., т. XIV, М., 1949, с. 164.

филологии и языкознания у Чернышевского проявляется на всем протяжении его деятельности. В журнальных статьях и рецензиях первых лет его литературной деятельности (1853—1855 гг.) он особенно часто обращается к важнейшим вопросам, касающимся отношения языка и мышления, грамматического строя и словарного состава языка, классификации языков, истории русского литературного языка, к вопросам стилистики, к оценке основных направлений в сравнительной грамматике индоевропейских языков и филологии. Но взгляды, развиваемые им, особенно в общих вопросах языкознания, были в этот период во многих отношениях резко отличны от взглядов, разделяемых Срезневским. Достаточно сравнить, например, то, что говорит Срезневский в первых разделах своих „Мыслей“ об отношении языка к истории народа и к мышлению, с тем, как ставит эти вопросы Чернышевский в рецензии на „Высший курс русской грамматики“ В.Стоюнина (1855), чтобы увидеть принципиальную грань, отделившую взгляды на язык Чернышевского от традиционных идеалистических воззрений на развитие языка, усвоенных Срезневским. Некритическому отношению к общим выводам и концепциям Я. Гримма у Срезневского противостоит в позднейших работах Чернышевского критика характерной для Я. Гримма идеализации ранних периодов в развитии индоевропейских народов и языков [1].

Следует отметить, что, несмотря на близость к Срезневскому в студенческие годы и на заслуженное уважение к его научному авторитету, у Чернышевского уже тогда начинает намечаться критическое отношение к некоторым предвзятым взглядам, развивавшимся Срезневским. Правда, в начале это расхождение сказалось преимущественно в вопросах современной литературы. Ярким свидетельством этого является запись в дневнике от 18 января 1850 г., где Чернышевский приводит свой разговор со Срезневским о Лермонтове и Гоголе. Непонимание их творчества со стороны Срезневского вызвало страстную реакцию у Чернышевского [2].

Конечно, не могли встретить сочувствия у Чернышевского те оценки современной литературы и критики, которые рассеяны в последней главе „Мыслей“ Срезневского, например, близкие к славянофильским взглядам[3] рассуждения Срезневского о развитии литературы и дипломатически завуалированные выражения неудовольствия по поводу приговоров современной критики и склонности современных писателей к „злобе дня“. (При этом несомненно имелись в виду Белинский и писатели-реалисты 1840-х гг. [4]).

---

[1] См. хотя бы его рецензию 1854 г. на „Архив историко-юридических сведений“. Н. Калачова (Полн. собр. соч., т. II).

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 1, М., 1939, с. 353.

[3] Как известно, И. И. Срезневский принимал в 1840 г. участие в „Московских сборниках“, издававшихся славянофилами.

[4] О нелюбви Срезневского к Белинскому, а также о непризнании им Гоголя за его реализм см. В. Ламанский, И. И. Срезневский, М., 1890, стр. 6.

В годы общения со Срезневским, помимо этих записок, Чернышевский подготовил по его просьбе также записи его курса славянских древностей в 1847/48 гг. [1].

* *
*

Публикацией настоящих отрывков из записей курса истории русского языка кладется начало более пристальному ознакомлению с деятельностью Срезневского как профессора университета. Отрывки печатаются с соблюдением всех характерных особенностей слога и пунктуации рукописи. Каждому отрывку предпослано указание (данное курсивом) на то место в тексте „Мыслей об истории русского языка“, с которым он непосредственно связан. В конце каждого отрывка в круглых скобках указаны листы рукописи Архива АН СССР. Инициативу в деле публикации материалов этой рукописи проявили акад. М. П. Алексеев и чл.-корр. АН СССР Н. Ф. Бельчиков. Н. Ф. Бельчиковым при подготовке этой публикации были даны ценные указания, за что редакция этого издания выражает ему признательность. Сличение текста рукописи с текстом отдельного издания „Мыслей“ 1850 г. и выбор публикуемых отрывков произведены Ю. С. Сорокиным. Ему же принадлежат данная вступительная заметка и примечания к публикации.

---

[1] Беловая рукопись этих записок также хранится в Архиве Академии наук СССР (ф. 216, оп. 3, № 729). В ЦГАЛИ имеется черновая шифрованная запись этого курса (она также расшифрована Н. А. Алексеевым). Эти записки заслуживают особого изучения, так как до сих пор мы мало представляем себе содержание данного курса, читанного Срезневским.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Курс 1849—50 года

составлял г. *Чернышевский*

История русского языка до сих пор еще нигде не была читана; не было, можно сказать, до сих пор и мысли об ней *, ⟨как об особенной отрасли филологических исследований, достойной университетского преподавания⟩. Наш курс есть первый опыт истории русского языка. Я не имею смелости надеяться достичь в нем полноты и непогрешимости; начиная читать историю русского языка, я хочу только бросить первые зерна и не при мне уже вырастет дерево.

История всякого языка потому слишком важна, что без нее невозможна никакая другая история, если под историей понимать не рассказ об отдельных лицах, занимавших высшие ступени политического общества, о войнах и мирах и т. п., а науку, говорящую об обществе и об людях, бывших его представителями и двигателями. Вопросов этой науки нельзя разрешить одними фактами о войне и о мире, записанными в летописях; нет, уже гораздо более средств отвечать на ее вопросы доставят нам и памятники ⟨искусства и⟩ ** литературы, нежели перечень выигранных битв и разрушенных городов; но и в памятниках ⟨искусства и⟩ литературы найдем мы мало в сравнении с тем, что нам необходимо. И кроме того, часто нет вовсе никаких ⟨ни⟩ литературных ⟨,ни художественных⟩ памятников у народа, — а всякий народ должен иметь свою историю, потому что всякий народ живет; часто нет у него и летописей. Правда, только народы, еще не достигшие образованности, могут вовсе не иметь литературных и художественных памятников, но и у образованных народов являются они не с самого начала народного существования, а когда они и явятся, большая часть из них погибает для потомства. Таким образом, для длинной эпохи первоначального существования каждого народа не бывает почти никаких памятников; летописи являются еще позже. Где же взять материалы для истории всего этого времени народной жизни, которое необходимо должно иметь историю,

---

* Конец предложения вписан рукою И. И. Срезневского. — *Ред.*

** Слова, заключенные нами здесь и ниже в ломаные скобки, вписаны Срезневским. — *Ред.*

потому что в нем основание и зародыш всей будущей жизни народа? Кажется, материалов этих нет.

Нет, они есть, и есть их много; только прежняя наука не умела находить их и пользоваться ими. Но наука новая, ⟨доказавшая важность⟩ филологии *, все больше и больше понимает, как пользоваться ими, все больше и больше ими пользуется. Филология, если понимать ее в настоящем смысле, наука по преимуществу человечная, humanior: мы хотим знать человечество; а чтобы узнать его, важнее всего узнать его духовную жизнь, его мыслительность, следовательно, язык, потому что ни в чем так полно, так глубоко не выражается мыслительность и духовная жизнь человека, как в языке. От этого центр наук гуманитарных — филология; — конечно, не прежняя филология, не понимавшая своего значения, метода и цели и оттого потерявшая свою репутацию. Долго была она в жалком положении, без рук, пока не расширила своих взглядов. А расширила она их тремя путями:

1. Через путешествия, открытия новых земель, исследование неисследованных прежде народов узнали в конце прошлого и в нынешнем веке много новых языков настоящих и прошедших; от самой многочисленности их естественно было почувствовать необходимость привести их в известные группы, распределить систематически — и вот начали статистически рассматривать и систематизировать все множество известных языков — статистическое направление филологии. Конечно, это дело еще только в самом начале; все, что сделано, слишком еще далеко от удовлетворительности, и единственные два сочинения, которые может выставить на вид статистическая филология, „Митридат“ и Атлас Бальби [1], очень мало соответствуют самым умеренным требованиям. „Митридат“ Фатера и Аделунга слишком неполон, но по крайней мере он хоть составлен филологами; а „Atlas éthnographique“ Бальби лишен и этого достоинства, хотя гораздо полнее и современнее. Бальби и во всем недалек, а особенно в филологии, в область которой и попал он случайно, через этнографию, только потому, что нет другого основания для классификации народов, кроме филологии. Потому ему необходимо было рассматривать и классифицировать языки народов, чтобы мочь классифицировать народы. Но сам он знал слишком мало языков и не мог составить ничего, кроме компиляции — правда, очень полезной, но и то почти только через помощь других ученых, которые всем помогали ему: и сбором материалов, и выводом результатов; так что он только описывал слово в слово составленные ими для него статьи ⟨и пробелы дополнял выписками из прежде изданных сочинений⟩. Другие сочинения нейдут и в сравнение с „Митридатом“ и Атласом Бальби.

2. Второе направление филологии выше направления статистического; оно сузило предмет, но зато смогло глубже узнать его —

* У Чернышевского было: филология, как мы ее понимаем. — *Ред.*

это сравнительное изучение языков для определения их сродства и после того узнания их разности и важности сходства между ними. Начало сравнительной филологии положено очень давно гебраистами, которые сравнивали еврейский язык с другими семитическими. Но из семитических языков не с чем было им сравнивать его по памятникам, кроме арабского, а народных семитических языков тогда не знали. Да мало еще имели и навыка в этом деле. Потому успехов было мало. Гораздо более сделано в наше время. В. Гумбольдт, Бопп и Потт — важнейшие делатели этой отрасли филологии. Все трое они немцы; это не значит, чтобы не трудились по этой части во Франции и в Англии — напротив, там более, может быть, сделано и делается для разработки материалов, — но немцы лучше умеют систематизировать, получать результаты из разработанных фактов; — в выводе результатов и состоит великая услуга науке В. Гумбольдта, Боппа и Потта *. Они трое разработали вопрос о индоевропейских языках, и их решение этого вопроса принято совершенно, так что теперь только развиваются их мысли.

3. Третье направление еще более сузило предмет и еще глубже проникло в него. Как сравнительная филология сравнивает различные языки одного племени, так историческая филология сравнивает различные эпохи одного языка. Это самый новый путь; отец его — Я. Гримм. Везде у него теперь последователи, но ни один не мог еще сравниться с ним. Прежде всего он разработал исторически грамматику немецкого языка; всякий ⟨важный⟩ факт ⟨своего отечественного языка⟩ проследил он исторически до самого нового времени с самого давнего по данным языка. Из последователей его более всех успеха у Дица в его сочинении о романских языках [2].

Все эти три направления — статистическое, сравнительное и историческое — помогают друг другу, и только при соединении их может идти наука вперед для раскрытия истории образованности народа; но самое важное из них третье. И в сравнительном направлении (не говоря уже о статистическом), получено будет слишком много чистых только предположений, если мы захотим выводить из него исторические результаты; поле его слишком обще и обширно; ошибок можно не наделать только через специальность; и потому их много у Потта, предмет которого слишком еще обширен для сил одного человека, между тем как их ⟨не видим⟩** у Гримма.

Как Гримм и его школа обработывает немецкий язык для узнания немецкой образованности, так должны обработывать и мы свой, если хотим иметь настоящую историю русского народа. У нас это даже необходимее, нежели у немцев: у них много памят-

---

* Здесь, видимо, Срезневским вычеркнута фраза, стоявшая в скобках. Впрочем, В. Гумбольдт почти полуфранцуз. — *Ред.*

** Первоначально было: нет. — *Ред.*

ников письменных, так что есть возможность составить по ним одним историю немецкой образованности, не прибегая к разработке языка для этой цели. У нас памятников письменности гораздо менее, слишком мало для достижения посредством их этой цели, и тем более необходимости разработывать для этого самый язык.

Нам нужно прежде всего сделать общий взгляд на вещь, которую хотим мы разрабатывать.

Язык не принадлежит частному человеку, ⟨а народу⟩ *. У всякого народа необходимо один, свой язык, нераздельная собственность всего народа. [Язык и народ, один без другого, представлен быть не может;] ** язык и народ как бы две стороны одной вещи: язык — дух, народ — тело, мертвое без этого духа. Свидетельством того, как издавна понимали тожественность языка и народа, служит самое наше слово „язык", которое первоначально значило и „народ" и „речь его". И действительно, народ вполне выражается в своем языке, полнее и вернее, нежели в чем-нибудь другом. (Лл. 1 — 4.)

К стр. 17. После текста, совпадающего с текстом „Мыслей" и кончающегося фразой: „Таким образом, изменяются народы, изменяются и языки их", в рукописи следует:

И, как все в природе, изменения эти происходят не только от одних внешних причин, а кроме их, и более их, от причин внутренних: язык изменяется, живя, точно так же, как зерно, живя, изменяется в дуб. Не употребляем, говоря о жизни и переменах языка, слова „развитие", потому что и прежде перемен в нем и всегда язык уже развит — неразвитого состояния он не может иметь. Эти изменения могут быть в известном языке очень различны, и история должна следить все их. В чем же состоит это разнообразие изменений языка и по какому пути идет в нем ряд изменений? В ответ на это рассмотрим содержание языка и увидим, что и как в нем может изменяться.

Чем проще взгляд на предмет, тем лучше. Самый простой взгляд на язык — различение в нем грамматики и словаря, строя и состава. Правда, грамматика входит в словарь, и наоборот; но тем не менее это две стороны языка, существенно различные. Каждое слово в языке — представитель вместе, и строя и состава (потому что всякое слово уж не голый корень: оно имеет известное значение и образовано от корня по какому-нибудь способу производства), это так; но тем не менее строй и состав языка,

* Далее вычеркнуто другими чернилами: И ничего собственно не принадлежит частному человеку. Даже богатства, которые копит он будто бы для себя, копит он не для себя, говорит Кант. Целые поколения трудятся, не зная отдыха, не спят, не едят, и трудятся не для себя, а для передачи плодов труда своего другим поколениям — так бывает во всех сферах жизни человечества, и так все человечественное принадлежит только всем. Так и — *Ред.*

** Здесь и далее в квадратные скобки введено то, что совпадает с текстом „Мыслей об истории русского языка". — *Ред.*

производство слова и его значение — вещи различные. Что же важнее в истории изменений языка, — строй или состав? Собственно говоря, состав; всякое слово — представитель понятия; нет понятия, нет и слова; есть понятие, есть и слово; чем больше понятий, тем больше и слов (тройная формула, каждый член которой — необходимое дополнение к другим). А как история языка изучается для узнания истории образованности, а образованность состоит в понятиях, следовательно в словах, то и выходит, что состав языка как выражение образованности народа в истории языка важнее строя. И действительно, мы видим, что состав языка сильно изменяется, что прежде в нем не было многих слов, которые есть теперь, — и вот мы можем следить, как развивались слова языка, то есть понятия народа. Кажется, с получением этих результатов мы получим все, что нужно и можно получить; — нет, не все. Слово, видели мы, представитель не только понятия, но и производства, не только состава, но и строя; и очень важная разница, принадлежит ли известное слово и строю того языка, к составу которого принадлежит оно, или по строю своему принадлежит оно другому языку; сам ли народ его выработал, то есть выработал выражаемое им понятие, или взял слово, то есть понятие, готовым из другого языка; этим измеряется самостоятельность образованности народа и богатство его языка * (мы говорим, например, что французский язык богаче других, потому что французская образованность богаче других) — и вот новая сторона, на которую должно необходимо обращать внимание в истории языка: история его строя, историч⟨еское⟩ рассмотрение средств, с которыми из немногих слов или, все равно, понятий, образовались в нем многие. В этом отношении важнее других статистическая школа, которая хочет обнять и разгруппировать все языки, а для распределения их по семействам должна стараться проникнуть в различие характеров различных языков. То же делал и Гумбольдт, различавший языки органические и неорганические, активные и пассивные, с чем и теперь многие согласны, хотя уже и ясна неосновательность такого различения. Вскрылось более языков, глубже изучили их и увидели, что неподвижных, неорганических языков нет, что все они движутся внутреннею силою и что относительно каждого языка можно определить по его настоящему виду, какие изменения прошел строй его; в этом много помогают исследователю путешествия и сравнительная филология. Из возможности определять предшествовавшую историю языка, изменения, каким подвергался он во время своего существования, и, следовательно, первобытный вид его произошло то, что тронули опять вопрос, который недавно еще был считаем нелепостию,

---

* Против этого на полях рукописи вписано рукою Срезневского без указания места вставки в текст следующее: Притом же, изучая состав языка, мы узнаем слова и соединяемые с ними понятия отдельно, по одиночке, и группируем их сообразно личным своим видам; в народе же слова и понятия составляют все вместе одно целое, логически связанное. — *Ред.*

вопрос о первобытном языке. Он явился в XVII веке и действительно принял нелепую форму: серьезно рассуждали о том, ***ме*** или ***бе*** было первоначальным звуком человека, с козла или с барана начал человек. Теперь, конечно, понимают его не так, а в том виде, как его понимают, он довольно проникнут. (Лл. 4 об.—6 *.)

К стр. 18. Этот отрывок следует за предложением текста „Мыслей“: „Звук один постепенно ~ дробится, слагается и разлагается“; он отчасти варьирует текст „Мыслей“:

Так звуков становится больше. Корней также становится больше, уже от одного того, что стало больше звуков, следовательно, одно слово-корень часто раздробилось на несколько слов различного выговора при раздроблении на несколько новых звуков, его составляющих, к каждому новому выговору прилепляется более прежнего определенное значение. Но мало того, прибавляются новые корни. Для нас это кажется непонятно: как же это выдумывать новые корни? А между тем это так; есть еще языки, где это делается в большом размере. А. Гумбольдт в свое путешествие по Северной Америке записывал слова во многих общинах североамериканских дикарей; через несколько времени в тех же самых общинах стали записывать слова другие путешественники и услышали совершенно не те слова, какие записаны у Гумбольдта; они стали спрашивать, как же им говорят не эти слова, а другие, и получили в ответ, что слова, записанные Гумбольдтом, действительно прежде употреблялись, но что теперь они уже устарели и вместо их всегда употребляют новые. Так слова сменяются у них, как у нас песни: ныне поют одну, за пять лет пели другую. Многие корни при этом погибают, но многие и остаются надолго, даже навсегда, и число их вообще все увеличивается. Еще сильнее увеличивается в языке число слов от влияния фантазии, управляющей словами как символами понятий: чем ближе к природе народ, тем сильнее и необузданнее действует у него фантазия. Представления, почему-нибудь кажущиеся сходными, выражают одним и тем же словом, слово переходит от смысла к смыслу и с приобретением каждого нового смысла все более определяется. При этом замечательно, что творческая сила фантазии долго остается только в круге видимого мира: народ, живя одною физическою жизнью, и фантазирует только физически; после является мысль о духовных вещах и является переход от понятия физического за словом к понятиям идеальным, и иногда, перейдя [в мир духовный, фантазия начинает действовать еще сильнее]. Метафористика в языке так велика, что мы не можем теперь сказать ни одной фразы о духовных или отвлеченных предметах без метафористики; и как

* Далее текст, совпадающий с „Мыслями“, а именно с началом второй главы. — *Ред.*

сильно бросается нам в глаза, что, напр., арабский язык весь проникнут метафористикою! Что ни слово, то метафора, и часто слишком смелая. Нам кажется это особенным свойством арабского языка, следствием арабского национального характера: нет, и у нас метафористики не меньше, только мы к своей европейской форме ее привыкли и потому не замечаем ее, а арабскую замечаем, потому что у ней другая, новая для нас форма. (Лл. 6 об. -- 7 об.)

К стр. 18. За отрывком: „корень слова, бывший доселе словом ~ слова определенные формально", совпадающим с текстом „Мыслей", в рукописи идет:

Сложение слов из корней очень разнообразно; самое простое и первое сложение корня с указанием, — назвать действие и прибавить „это", соединить предмет и действие. В наших (индоевропейских) языках все звуки употребляются для выражения указания „это"; потому уже через одно соединение с указанием может произойти множество слов: в одном случае употребляется одно указание, в другом другое, и так из одного корня одним этим способом может произойти несколько слов; так из соединения указания (местоимения) с корнем образовались имена, глаголы. С появлением этого способа производства начинается огромный переворот в языке: прибавки разного рода беспрестанно, повсюду начинают употребляться в языке, все чаще и больше, потому что чем грубее, тем смелее народ. Соединяются и по два настоящих корня в одно слово; сначала они сохраняют самостоятельность в сложении; потом больше и больше, наконец, совершенно сливаются в один корень. (Л. 8.)

К стр. 21. Этот небольшой, но важный отрывок следует в рукописи за текстом, совпадающим с „Мыслями", после абзаца: „Превращение строя языка, будучи вместе и превращением его состава ~ даже потерять их вовсе..." :

Нельзя не назвать этого периода периодом превращений, хотя никак нельзя согласиться, что это порча языка, — напротив, скорее это развитие, только уже не самого языка в его материальной форме, а мысли, выражающейся в языке. Какое же право имеем мы назвать этот язык испортившимся, когда он остался прекрасным, сильным, точным выражением мысли? (Л. 12.)

К стр. 21, после слов: „но все-таки постепенного превращения нельзя не видеть в изменении всего его строя и характера":

Но период превращения может дойти до самого последнего конца, и тогда превращение форм языка доводит язык по-видимому до первоначального хаотического состояния: слова в нем не изменяются; формы так перемешаны, что по наружному виду

трудно отличить различные разряды слов; даже в составе корней — хаос: корень чужой всегда годится, как бы он ни был составлен; корни свои совершенно уклонились от своего первобытного вида. Особенно бывает это, когда два народа соединяются в один; и бывает тем полнее, чем равносильнее соединившиеся народы (если один элемент населения будет много сильнее другого, сила его отразится преобладанием в новом языке стихий его языка), и когда они почти равны, равно будет и влияние обоих на вновь образующийся язык. Влияние это выразится единственно отрицанием, „не позво́лям“ [3] польским: один народ не хочет принять форм языка другого народа, и они не входят в новый, образующийся из смеси двух прежних языков язык; другой народ также не принимает форм первого — и они тоже отпадают; таким образом вновь возникающий язык остается вовсе без форм. Таков язык английский, в некоторой степени и молдавский. (Лл. 12—12 об.)

К стр. 24. После абзаца: „Другой вопрос: — Как постепенно изменялся язык ~ как сохранял и распространял ее?“, в рукописи следует:

Так и в истории русского языка должны быть эти два вопроса, как две половины одной и той же задачи: 1) чем был русский язык прежде, нежели сделался русским языком, и 2) чем бывал он с того времени, как стал русским языком, языком отдельного народа?

При исследовании истории состава языка самое важное принадлежит первому вопросу: какая масса слов или понятий принадлежала племени, когда народ отделился от племени; это самый важный вопрос относительно истории как образованности, так и языка народа; важнее всего он в наше время, когда борение национальностей так сильно и так велико пристрастие к ним; есть же люди, говорящие, что немцы выведены из дикого состояния только славянами, у которых заняли всю свою образованность, или наоборот. Без сравнительного рассмотрения в этом отношении всех близких друг к другу языков этого вопроса, кто что́ у кого занял и что́ у кого свое, нельзя решить. А вместе с тем без знания того, с чего началось развитие, нельзя решительно следить самого развития. Так необходимо в истории языка обращать внимание отдельно как на строй, так и на состав языка.

Но из сказанного нами прежде ясно, что мало исследовать внешние влияния на известный язык, чтобы понять его изменения: должно рассматривать и внутреннее влияние собственного его закона изменяемости. Язык изменялся бы, хотя б и совершенно не было на него никаких внешних влияний; мысль эта новая, но все более и более принимаемая, хотя и темно понимаемая многими.

Дуб по внутренней причине делается дубом, и именно этим дубом, — то же должно сказать и о языке. Таким образом, влия-

ние климата, пищи, соседей, моды, всех этих механических причин, которым так любили прежде приписывать все изменения языка, очень суживается, и нам теперь уже смешно слышать мнения, еще недавно бывшие в ходу об этом. Ведь говорили же поляки, что их ą, ę заняты с французского, и говорили еще в тридцатых годах. А разве не то же самое, когда говорят: „Языки гор всегда грубы, языки долин всегда мягки“, и приводят в пример итальянский и скандинавский; да как же можно выводить что-нибудь из сравнения скандинавского с итальянским? Они совершенно различны, и причина разности между ими, конечно, не гористость или низменность страны. А если мы уже хотим увидеть, имеет ли в самом деле такое огромное влияние на язык этот элемент местности, сравним язык Абруццких гор и Понтинских болот, серба горного и серба степного, и увидим, что разница между ими в грубости или мягкости ничтожна и что, следовательно, мало зависит грубость или мягкость языка от того, горцы или жители долин говорят им. То же должны будем сказать мы и о других посторонних влияниях. Нет, главный закон в жизни и человека и языка — закон самоизменяемости: не от внешних влияний растет, мужает и стареет человек. Необходимо также отделить в каждом языке, имеющем книги (следовательно, и в русском), два языка: язык народа и язык книг; это различие кажется странно, однако оно всегда существует. И здесь можно иметь превратные понятия о причинах различия этих двух языков и соотношении их между собою. Думали, что язык книг — правильный язык, а язык народа — черт знает что, искаженный язык. Как бы то ни было, это два различные языка, и, сравнивая их различия, можем видеть, почему они различны. Главная причина различия и здесь внутренняя, скрывается во внутренней самоизменяемости языка. Язык народный ни минуты не стоит, беспрестанно изменяется; а языку книги невыгодно изменяться: приятно ли писать на таком языке, о котором знаешь, что через 10 лет он будет казаться устарелым? Кроме того: слова исчезают, а книги остаются; их изучают долго, и короткое знакомство со старыми книгами, утвердившаяся привычка видеть в книге известные формы, слова, обороты не может не иметь огромного влияния на человека всякий раз, как он сам пишет книгу. Так у писателей является и любовь к прошедшему и какая-то непроизвольная прикованность к нему. Таким образом в книжном языке является стремление к неподвижности, и оно тем сильнее, стоячесть языка книжного тем дольше, чем дольше в умственной жизни народа нет новых идей, новых вопросов и новых их решений. И латинская lingua rustica * изменялась постоянно; не изменялся только литературный латинский язык, решившийся сохранить однажды принятые формы, когда явилась неподвижность в умственной жизни римского мира: зато и язык этот был искусствен-

* Деревенский, грубый язык *(лат.)*. — *Ред.*

ный, устарелый, и сам Цицерон говорит, что трудно говорить на книжном языке, — так уже в его время удалилась от него lingua rustica. Другая причина различия книжного и народного языка: книги более подвержены влиянию чужих языков. Народ может занимать только слова (и то не так много, как книги), но никогда на теряет народности оборота; а язык книги занимает часто и обороты чужие (приведем в пример хотя латинизированье синтаксиса, которое прежде было везде и теперь еще остается в немецком). Как бы то ни было, главная причина различия синтаксиса, состава и строя народного языка от книжного все-таки та, что язык народный любит изменение, язык книги любит сохраняться, — причина внутренняя; а внешняя — влияние чужих языков — второстепенная. Таким образом, в книжном языке можно прочитать язык народный, только не того времени, когда писана сама книга, а прежнего; и главное различие между ими во времени. Это особенно важно для истории русского языка, где господствуют очень неправильные понятия об отношении письменного языка к народному. Необходимо обращать внимание и на стих народной и книжной словесности: язык есть слог, размер; почему же у нас привились только тонические стихи, во французском — только силлабические? Это не от моды; в польском также хотели ввести тонические стихи, понимали, что они были бы лучше силлабических, но не могли принудить польского языка к принятию их. А каким образом отделить слог от языка? Стало быть, необходимо обращать внимание на язык народной словесности и письменной литературы, следить изменения языка как орудия их. Идей новых всегда мало. Что остается за исключением их в науке и в литературе, составляя самую бо́льшую часть их содержания? — развитие, форма. Развитие идеи может принадлежать самому народу или быть занято им в готовом виде; последнее гораздо менее важно для истории образованности народа, и потому ей остается предметом собственно народное, и является для нее вопрос: на сколько выразилась в литературе народная, своя образованность? (Лл. 14—16.)

(Далее в рукописи пробел, обозначающий переход к другому разделу введения):

Для истории русского языка, предмета непочатого, чрезвычайно важны самые источники. Какие же они? Ответом на это мог бы быть целый курс „Об источниках для истории русского языка“: чем менее и хуже обработаны источники, тем их более (все равно, как было для истории нового русского законодательства до издания Полного собрания законов). Источники есть и свои и иностранные; те и другие равно важны.

Наши домашние источники — памятники языка всех периодов; и ни одного, ни самого маловажного, нельзя здесь оставлять без внимания ни в прошедшем, ни в настоящем. Памятники эти:

летописи, пословицы, песни, сказки, выражения, слова (два последние очень важны, и на них-то именно и привыкли не обращать внимания). У нас нельзя сказать, чтобы не собирали их, но нельзя не пожелать собирателям того, чтобы они не переделывали, были только дагеротипом: чем вернее и подробнее будет записано, тем лучше. А то у нас множество изданий народных песен, — может быть, ни у одного народа нет их столько, с самой Екатерины собирают и издают их, — а между тем нет еще ни одной песни, переписанной как следует: всегда подводят их под литературную ферулу и везде является на них литературная, а не народная одежда: как же тут найдем мы в них следы времени и места? С записанными таким образом вещами нельзя создать историю языка.

Столько же, как свои, важны и иностранные источники. Всего важнее памятники языка западных славян, особенно древние памятники, и потому особенно чешские, как самые древние (они начинаются с X, даже IX века, между тем как польские, например, с XIV). Но важны памятники не только древнего, но и современного языка наречий западнославянских. Здесь опять множество изданий, у Шафарика перечень их занимает больше 2 листов. О грамматических и лексикографических трудах я говорил уже прежде[4].

Для истории русского языка хорошо было бы обратиться к самым источникам для изучения и сравнения с русским других индоевропейских языков; но едва ли может достать на это сил. Потому, оставив источники, должно обратиться к пособиям; а как языков здесь много, то всех главных пособий нельзя и, может быть, не нужно перечислять. Скажу только, какие были у меня постоянно в руках.

Боппа „Vergleichende Sprachlehre" (в 3-й и 4-й книжках он рассматривает уже и славянский язык наравне с другими).

Потта „Etymologische Forschungen" и сочинение о литовском языке.

В. Гумбольдта „О языке Кави" (язык средних веков в Гиндустане), где в первом томе — общий взгляд на язык вообще[5].

Из пособий для ближайших языков:

Я. Гримма „Deutsche Grammatik" (должно пользоваться 2-м изданием, потому что третьего вышел еще I том) и „Geschichte der deutschen Sprache" — новое сочинение, о котором поэтому скажу несколько слов[6]. Это результат его исследований языка, древностей, нравов, или, как он говорит, Recht, Glaube, Sitte *, и историю всего этого вместе понимает он под историею языка (потому и грамматика его не только грамматика, а вместе история развития народного ума). Он ограничился только самым древним периодом: с окончанием переселения народов оканчивается и история языка, как он его понимает, потому что Recht,

* Право, верования, обычаи *(нем.)*. — *Ред.*

Glaube, Sitte уже не переменялись существенно со времени принятия христианства, — вот общая мысль его, хотя и не высказанная ясно, а раздробленная по всей книге от его привычки посылать в типографию лист за листом, не дожидаясь окончания сочинения.

Вследствие Гриммовых сочинений явилось несколько других подобных; из них особенно замечательна „Грамматика романских языков“ Дица.

После Дицова сочинения вышло другое, может быть даже лучше Дицова, посмертное сочинение автора, издавшего лет десять тому назад „О неправильных глаголах в романских языках“, — это: Fuchs „О романских языках в сравнении с латинским“, превосходное сочинение[7]. Только он как будто не был совершенно уверен в своей основной идее, что романские языки — продолжение, а не искажение латинского, скорее уже улучшение его. Это совершенно справедливо. Но не нужно было бы ему бранить и хвалить, превозносить романских языков насчет латинского — это не дело науки, а без этого ему не пришлось бы спорить со Шлегелем. От этой мелочности раздвоение в его книге: он говорит о изменяемости, следит постепенный перевод латинского в романские языки — так и должно было делать ему, а сравнивать, что̀ красивее, лучше, было бы не нужно. Другая неясность у него та, что он, принявши давнее существование романского племени, не уяснил, что́ было оно до разделения составлявших его народов, не уяснил, колонисты ли только все они были из Рима, или это было целое коренное в их местах племя? Кажется, как будто он принимает, что это было целое огромное племя (особенно видна эта мысль у него, когда он спорит, хваля романские языки, доказывает, что такая-то испанская или французская форма древнее латинской), а между тем он говорит о распространении латинского языка в Испании, во Франции и т. п.

Вот самые важные пособия в грамматическом отношении; что касается словарей, то есть несколько важных для нас глоссариев санскритских (лучший — Боппа); важны германские словари, особенно „Althochdeutscher Sprachschatz“ Graff'a[8]; важны также словари исландские. (Лл. 17—18.)

К стр. 27. После первого абзаца третьей главы „Мыслей“:

Но здесь является вопрос:

Сходство между всеми индоевропейскими языками огромное, особенно в корнях; но непомерная между ими и разность, особенно по богатству и бедности форм. В санскритском, например, 4 залога, 5 наклонений, 8 падежей и т. д.; а в Neuhochdeutsch* почти все, в английском, можно сказать, все формы потеряны. „Потеряны“, говорится обыкновенно; — и действительно, очень многое в этих языках в самом деле потеряно, потому что было прежде; но

* Нововерхненемецкий язык. — *Ред.*

спрашивается, были ли некогда в них все те формы, которые есть в санскритском? Вообще, всё ли, что есть в одном из индоевропейских языков, всё ли, по крайней мере, что есть в санскритском, принадлежало некогда и всякому индоевропейскому языку? Решить этот вопрос можно двумя способами: — сказать: „все, что есть в санскритском, было и во всех индоевропейских языках“; ответ очень простой, и никак нельзя будет доказать его несправедливость. Но беспристрастие и непредубежденность не позволят, кажется, отвечать так.

Изменяемость в языке всегда была, и прежде и после разделения общего языка индоевропейской отрасли на языки частных народов или частных племен. Некоторые из разделившихся друг от друга языков могли продолжать развиваться и после отделения своего от общего языка всей отрасли, другие могли перестать развиваться, как только отделились от него, и тотчас же вступить в период превращений. Таким образом, народы индоевропейского племени, пока еще не разделились на частные народы, могли иметь в общем языке своем вовсе не так много форм, как сколько развили их после разделения некоторые из языков частных народов, продолжавшие развивать формы. Да и те языки, которые продолжали развивать свои формы, могли пойти различными путями в этом развитии. Так дети одного отца могут одни расти долго, другие — очень скоро перестать расти; из глаз, первоначально у них у всех голубых, у одних глаза могут остаться голубыми, у других — стать серыми или карими. Тем легче могло явиться в одном из разделившихся языков то, чего не было ни в одном из остальных, что период развития строя долго и сильно идет еще вперед в языке, между тем как начался уже период превращения; от этого очень легко исчезнуть одной из сродных по виду или по значению форм и замениться одною из сродных с нею, которая тоже легко может развиться в несколько новых форм; а может вместо нее развиться и совершенно новая форма. Так и в санскритском прежде разделения общего языка индоевропейского племени на языки частных народов могло быть только три падежа, а не 8, и остальные пять падежей могли развиться только уже после отделения его от общего языка; и очень может быть, что некоторые из этих новых пяти падежей никогда и не развивались во многих индоевропейских языках. Так не следует и того, чтобы в европейской отрасли этих языков были когда-нибудь все формы, какие есть в азиатской, и наоборот. Таким же образом должно представлять себе и отношение русского языка и его форм к общеславянскому языку и к другим славянским наречиям и их формам: ни из чего не следует, чтобы все формы русского принадлежали некогда церковнославянскому или чешскому и наоборот. (Лл. 19 об.—20.)

(Далее в рукописи пробел, обозначающий переход к следующему разделу курса):

Переходя к истории русского языка как собственно русского, остановимся на том, каков должен быть общий взгляд на нее, какие должно принимать в ней эпохи?

Мы уже знаем, что истории отдельного русского языка должна предшествовать история того состояния его, когда он был одно с общеславянским языком, и обозрение положения его в то время, когда он отделялся и только что отделился от него. Не будем же говорить об этом.

Но потом русский язык является уже языком отдельного народа с своею особенною от других наречий славянских судьбою, и это время его существования принадлежит его собственной истории, как настоящее достояние ее.

Сравнивая историю западных славянских языков с историею русского, нельзя не видеть как там, так и здесь, двух очень различных периодов — древнего периода (периода древних форм) и нового периода (периода падения древних форм). Граница между ими — конец XIV века.

А. Период древних форм.

В нем: 1) Русский язык — язык отдельного языческого народа, с индивидуально ему принадлежащими понятиями о вере, жизни, государстве и т. д. Эти понятия и, как следствие их, это состояние русского языка продолжаются до утверждения в Руси христианства. Так первая эпоха древнего периода — период язычества и первоначального введения христианства до утверждения господства христианской религии (до 988 года или до конца X века).

2) Но вскоре по введении христианства пала идея политического единства; от самого прилива новых идей с христианством должны были измениться прежние понятия обо всем; таким образом, понятия и вся образованность народа должна была сильно поколебаться и по тому самому должен был начать сильно изменяться строй языка. В самом деле, мы видим в памятниках того времени постепенное падение прежнего строя русского языка; к началу XV века от него остаются только развалины. Так вторая эпоха древнего периода — период уделов, начало XI — конец XIV века.

Б. Период новых форм. Этому периоду также принадлежат две эпохи:

1) Русский язык во время падения уделов и соединения России в одно политическое целое—начало XV — конец XVII и начало XVIII века.

2) Русский язык в последние полутораста лет — XVIII и XIX век.

Каждую из этих эпох должно будет рассматривать отдельно; но нельзя не остановиться особенно на первых. Ими и ограничим мы курс наш.

Два вопроса, необходимо представляющиеся в начале истории каждого языка, прилагаются и к русскому языку.

Каков был, спрашивается, во-первых, русский язык при отделении его от общеславянского языка? И, как он был частью этого

языка, то, спрашивается, во-вторых, каков был сам славянский язык? а на этот вопрос может отвечать только его история. Так история общеславянского языка и всего, целого еще, славянского племени, принадлежит к истории русского языка, предшествуя ей. Так: 1) что был общеславянский язык (и русский, заключавшийся в нем) до отделения от него русского языка? 2) Что был русский язык, когда отделялся он от общеславянского языка? (Конечно, второй вопрос гораздо важнее первого для истории русского языка.) Тем приложимее эти вопросы к славянским языкам, что и теперь они очень еще близки друг к другу.

Но сам общий славянский язык и само все славянское племя — отрасль индоевропейского племени и его языка, ближайшим образом — их европейской ветви, кровные родные языков и народов кельтского, греческого, латинского, германского и литовского. Первоначальная история у них одна, и потому для того, чтобы понять историю славянского народа и языка, необходимо обращать внимание и на это первобытное время, когда славянское племя не отделялось еще от целого племени индоевропейского, язык его от общего индоевропейского. Конечно, делать это можно только смотря по степени приготовленности к тому, и, что касается до меня, я буду говорить только то, что уже сказали другие, ничего от себя. (Повторим, что руководства здесь особенно: Гримма „Грамматика" и „История немецкого языка"; грамматики Боппа, Дица, Фукса, Рейнига; для легкого сравнения кажется удобнее всего Эйхгоф, но его сочинение может удовлетворить только на первый раз и когда нет других пособий)[9].

Таким образом, спрашивается, что был русский язык, 1) когда только что отделился вместе с другими славянскими наречиями в общем славянском языке от других индоевропейских языков; 2) когда отделился от других славянских языков? Чем был он а) по составу и б) по строю своему? [Т. е. в какой поре развития был по своим формам и что выражал своими словами, как символами понятий и нравов, быта и обычаев народа?] Вопрос такой кажется слишком смелым: как говорить о времени, для которого нет памятников? Нет, памятники есть, если только захотим вникнуть в дело, поискать их — мы их найдем и здесь, как и вообще находим всегда, когда поищем. Где, кажется, источники для астрономии? А ведь нашлись же они, и такие богатые и точные, что астрономия теперь ближе к совершенству и несомненнее всех сродных с нею наук. Так и у филологии не меньше найдется средств узнать эти отдаленные времена, чем у астрономии — узнать расстояние и массу недостижимых, кажется, для нас планет. И одна только филология может отвечать нам на этот вопрос о первобытной жизни народов, на который молчит история, потому что не находит материалов для ответа на него. Для истории это время так же неизвестно, как будто бы вовсе и не существовало его, а между тем это-то первое время жизни и есть самое важное для нее, потому что ведь она наука о развитии; а чтобы

знать развитие, необходимо прежде всего знать, что́ развивалось Так необходимо история должна просить здесь помощи у филологии. Конечно, многим теперешним историкам покажется смешно заниматься формами грамматическими: они слишком привыкли смотреть только на внешние обстоятельства; но углубляясь в сущность своего предмета история поймет, и уже начинает понимать, всю важность филологии и не будет чуждаться ее. (Лл. 21—24.)

К стр. 28:

Время отделения русского от общеславянского языка должно полагать в VII, VIII, IX веках. [К этому времени русский язык, по отношению к своему строю, был при исходе развития своих первобытных форм, уже начав период их превращений.] Размножение форм еще продолжалось, но уже было так много их, что можно было бессознательно употреблять одну вместо другой. Так всегда бывает, что один период долго еще и сильно продолжается, когда начался уже другой. Это выражалось в правильной системе звуков, и в богатом разнообразии форм словообразования и словоизменения, и в определенном различии форм словосочетания. (Л. 25.)

К стр. 28, после абзаца: „Вникая в подробности строя ∼ особенное внимание филологии“:

Но где же средства узнать его? Памятников той эпохи нет. Имена собственные того времени в летописях? Но летописи написаны позже, и они в них, может быть, искажены; у иноземных современных летописцев нет русских имен этой эпохи, а есть только имена, относящиеся к предшествующему ей времени, да и то мало; откуда же мы возьмем материалов, чтобы говорить о строе русского языка в эпоху его отделения от общеславянского? Материалов для этого должно быть непременно очень много в позднейших памятниках, с X до XIV века, которых язык уклоняется от языка этой эпохи, и чем дальше, тем более. Таким образом, если отметим в памятниках X—XIV века позднейшие формы, которых является, чем моложе памятник, тем больше, и тем последовательнее вытесняют они древние соответствующие им формы, которых, напротив, тем больше бывает в памятнике, чем он старше, и которые тем последовательнее употребляются в нем; если отметим эти, несомненно позднейшие формы, то у нас останутся первоначальные формы русского языка; в одном памятнике останется одна, в другом — другая; в массе их наберется очень много; и по этим отрывкам, собравши их, мы воссоздадим все целое. Можно даже сказать: язык, видим мы, постепенно уклонялся от древних форм к новым и уклонялся в данное время в известном направлении: — следовательно, во время, пред-

шествующее тому, от которого остались нам памятники, он был необходимо в различных состояниях, уклоняющихся от состояния языка, уцелевшего в памятниках, в том же направлении, но назад, и чем раньше время, тем сильнее уклонение назад. Одного только будет нельзя сказать определенно, восстановив таким образом язык, предшествовавший языку памятников: какому именно, в точности, веку принадлежал он? Да это собственно и не нужно; нужно только отделить то, что принадлежит историческому развитию, от того, что вне его. Таким образом Гримм достиг возможности восстановлять целые наречия германские, говорить: в такое-то время в таком-то наречии эта форма должна была иметь такой вид, — и он не ошибается при этом, хотя нет памятников от этого наречия за то время. Он достиг того, что говорит наверное, не ошибаясь никогда; но верному знанию и у него предшествовало проблематическое. Мы пока можем ограничивать притязания свои только и одною проблематическою верностью.

Так рассмотрим же по методе Гримма строй древнего русского языка в первую эпоху его существования. (Лл. 25 об. — 26 об.)

К стр. 33, перед абзацем, начинающимся со слов: „Почти все выводы о строе древнего языка...“:

Вот главные черты древнерусского синтаксиса, которые успел я заметить. Сравнить их и вообще весь строй древнего русского языка с тем, что находим в церковнославянском, то мы увидим, что древнерусское и церковнославянское — почти один и тот же язык. Прежде объясняли эту близость не близостью языков, а тем, что памятники, которые предполагаем мы писанными на древнерусском (Русская правда, грамоты и т. д.), сами писаны на церковнославянском. Но это было бы слишком искусственно; язык их предполагал бы тогда слишком много уменья в писавших им: известно, что чем выше древность, тем менее возможности предполагать, чтобы она могла писать не только чистым, но и смешанным чужим наречием порядочно. Представим себе хоть латинь средних веков — разве с самого начала средних веков писали хорошею латинью? Возьмем французские Capitularia [10], древнейшие по-латини писанные германские и испанские грамоты — что за язык в них! Сличим их: — с первого взгляда видно, что писаны они людьми, говорившими на различных языках; слова и обороты каждого языка целою массою вошли в латинский под перьями этих писателей. Потом уже латинь чище, напр. в XIII—XIV веке. Такого смешения двух языков не видим в наших памятниках, в них господствует гармония форм, и если некоторые формы, как мы видели, имеют двоякий вид, то немногочисленность таких форм именно и доказывает, как в немногих точках расходились древнерусский и церковнославянский. От этой-то близости только и могла родиться мысль, что церковнославянское

и русское — одно наречие. И в самом деле, кажется, что древнерусское было изо всех наречий славянских самое близкое к церковнославянскому; главное различие между ими было то, что в церковнославянском совершенно сохранились еще в ту эпоху потерявшиеся уже у нас носовые гласные (этим русское уступало церковнославянскому, так же как польскому и хорутанскому), а у нас вполне еще сохранялась начавшая уже колебаться и теряться в церковнославянском смягчаемость согласных (в этом русское превосходило церковнославянское) и употребление местоименного окончания *ть* для означения третьего лица в спряжении.

Для неверующих в то, что все почти принадлежавшие церковнославянскому формы принадлежали и древнерусскому, можно было бы положительно доказать, что они действительно и необходимо принадлежали самому русскому, а не заняты в него из церковнославянского. Это можно сделать так: несомненно, что, напр., *ть* в 3-м лице прошедшего ед. и множ. числа нет в церковнославянском; эта форма попадается только в русских памятниках, след⟨овательно⟩, чисто русская; она остается преимущественно в преходящем — след⟨овательно,⟩ преходящее чисто русская форма; если есть преходящее, необходимо должно быть и прошедшее совершенное — след⟨овательно,⟩ и оно было в русском. Так можно вывести почти все формы (Лл. 34 об. — 35.)

К стр. 35, после конца третьей главы:

Рассмотревши строй, мы должны были бы рассмотреть состав древнего русского языка в первую эпоху его существования; нам должно было бы таким образом представить полный список корней, в нем тогда бывших, показывая при каждом корне: „Это корень общеславянский“, „это собственно русский“, „это занятый из других славянских наречий“ или „из чужих языков“. Но если сделать это коротко, то это будет лишено всякой пользы; а если сделать, как должно, то займет по крайней мере полгода времени. Потому необходимо ограничиться не всеми, а только самыми важнейшими словами. Но они представятся нам сами собою при чтении памятников, которым мы после займемся, и тогда будет гораздо удобнее разбирать их.

Потому обратимся теперь к следующим периодам. (Л. 36 об.)

К стр. 35, перед обзором границ русского языка:

Вот первобытные границы, в которых говорили русским наречием, по исследованиям Шафарика и по моим соображениям. (Л. 37.)

К стр. 35, после слов: „к среднему Немню и через Вилью и Двину к озерам“:

Так должны были лежать границы русского наречия, судя по именам городов и рек, которые называют русскими в летописи, и по именам тех мест, где по летописи встречаются русские с иноплеменными соседями.

Соседями этими были: на северо-западе литовцы и поморские колонии балтийских корсаров (мы говорим просто „балтийских корсаров“, не споря здесь о том, к какому племени они принадлежали, были ли они чистые скандинавы, или чистые славяне, или смесь и других — во всяком случае, они бились и основывали свои колонии на этих берегах Балтийского моря); на север и северо-восток русские граничили с чудью, на восток и юго-восток с народами турецко-татарского племени (племена турецкое и татарское давно были перемешаны в некоторых народах между собою, как видим по китайским памятникам; так, вероятно, и на наших границах их орды были перемешаны из обоих племен. Таким смешанным из турок и татар народом были, конечно, например, печенеги, из слов которых одни кажутся чудскими, а другие встречаются нам на Алтае)... На юге соседили русские с теми же турко-татарами, а потом с румунами и греками. Как далеко были колонии греков на северо-востоке? Судя по Геродоту, они должны были проникать довольно глубоко в землю славян русских, хотя, может быть, впоследствии и исчезли внутри их земли, как исчезли и румуны (у Нестора называющиеся волохами; напоминание у Нестора о волохах как причине великого переселения славян показывает, что румунские колонии должны были быть недалеко от Киева). На западе соседями русских славян были другие славянские племена, с которыми жили они очень чересполосно, так что границы и колонии одних вдавались очень глубоко в землю других. Так у Нестора упоминаются почти в самой середине земли русских славян целые области ляшские — радимичи и вятичи; об этом факте Нестору пришлось упомянуть, а были, может быть, и другие подобные факты, которых знать или упомянуть ему не случилось. Кроме того, как самые восточные из европейцев, русские славяне необходимо подвергались нападениям восточных народов, которые, по неизвестным нам причинам, начали сильно волноваться еще до Рождества Христова, а как они были номады, то волнения их выразились переселением, и они, перекочевывая, не только грабили встречавшиеся на пути земли, но и оставались в них среди других племен. Таковы были, например, жившие середи русских славян торки и берендеи, без всякого сомнения, бывшие не славянского племени. Но как бы велики ни бы⟨ли⟩ эти выселения восточных народов в земли русских славян, главная масса населения этих земель была необходимо русская, и восточные народы были перед нею маловажны, иначе хотя частями они должны были бы передать славянам русским свой характер, исчезая впоследствии середи их; но характер последующего языка русского остается совершенно прежний, только идущий обыкновенным путем внутреннего превращения; заимствований от восточ-

ных языков сделано чрезвычайно мало, гораздо меньше, нежели мы думаем обыкновенно; татарщины, например, в нашем языке несравненно менее, нежели французского влияния на немецкий, не книжный, нет, а самый простонародный немецкий язык; до такой степени менее, что невозможно и сравнивать по силе этих двух влияний. Этими чужеземными колониями сжимались очерченные нами границы русского языка; но, [с другой стороны, нельзя сказать, чтобы в этих границах был заключен весь народ русский:] они значительно расширялись, если принять во внимание колонии самих русских.

Такою колониею было, например, на востоке, славянское население болгарского* Поволжья — болгары были смесь татаро-турков и славян (они сами отвечают Димешки, арабскому географу XIV века, на вопрос его: кто они? — „Мы болгаре, а болгаре смесь татар, турков и славян"); что славяне этой смеси были русские, видно по уцелевшим словам.

Другая колония русская была на Черном море — Тмутаракань. Говорят: „Тмутаракань была населена варягами", — но в подкрепление такого мнения нет доказательств, а против него говорит то, что об Тмутараканском княжестве мы ничего не знаем, пока варяги еще не смешались и не исчезли совершенно в славянах, а когда все в русских княжествах обратились в чисто славянское, тогда является в русской истории и тмутараканское княжество". (Лл. 37 об. — 39.)

К стр. 36:

Было много русских колоний между словаками: в Карпатах есть еще и теперь предания о них, а в Татрах есть места, население которых по языку — чисто словаки, а по складу лица и цвету волос, глаз, вообще по телосложению невозможно с первого раза не узнать в них русских, хотя перемена одежды и образа ношения волос (chevelure) и должна была бы много сглаживать русский тип их; и сами они говорят, что недавно еще были они русскими и русской веры (напр., я слышал это в городке Тель в Татрах); даже и теперь еще священник их должен креститься совершенно по-нашему и приноравливаться к другим их религиозным особенностям, принадлежащим греческому исповеданию. Таких мест довольно много в Карпатах. В Венгрии было множество русских колоний, потому что встречается множество местностей с „Рус, орос, рушка" в названиях: Óрос-вар, Óрос-варош, Рýшка-гóра и т. д.; чтобы увидеть, как их много, стоит пересмотреть описание Венгрии Тиля (бывшего в нашей службе), где есть список имен всех урочищ, всех сел, деревень, даже одиноких жилищ в Венгрии. Особенно усеяна этими именами средняя Венгрия, на восток от Пешта; конечно, уже несправедливо, основываясь на этих именах, полагать вместе с Шафариком, что все население

* В рукописи ошибка: Балтийского. — *Ред.*

этой земли было сплошное русское — напротив, это необходимо должны были быть только колонии русских, разбросанные среди другого племени, потому-то они и отмечены словом „русский“ — иначе незачем и некому было бы отмечать. В Трансильвании „Рушке горе“ — большой хребет; много местностей, отмеченных именами „Русский“, есть, кроме Трансильвании, и в Валахии (об этом см. статью Надеждина во 2 книжке записок Русского географического общества) [11].

Наконец, необходимо были русские колонии в Болгарии, Фракии, Македонии, Албании — в Болгарии уже и потому, что в болгарском и теперь находим руссизмы, судя по именам. Были, наконец, они и в Элладе и Морее, что я вывожу из географических имен в средневековой поэме „La conqête de la Grece“ *, некоторые из славянских имен, во множестве там находящихся, не могут принадлежать никому, кроме русских (напр., там есть Озеро). (Лл. 39—40.)

К стр. 36, после слов: „отодвигали... народную границу русскую на восток и на север“:

Естественные и первобытные границы русского народа и языка должны в высшей степени обращать на себя внимание ученых, занимающихся Россиею и ее историею. Особенно интересна не только для филолога, но и для историка, должна быть западная граница, потому что точное определение ее слишком важно для разъяснения и определения древнего соотношения между романо-германским западом и славянским востоком, соотношения, которое до сих пор так мало узнано и объяснено; мы готовы теперь заимствование всех понятий, пришедших к нам с запада, относить к последнему времени, между тем как многие из этих понятий заняты нами еще в древности. (Л. 40.)

К стр. 36. Отрывку со слов: „История довольно подробно написала...“ и кончая словами: „языка собственно народного от языка книг и людей, образуемых книгами“ в рукописи соответствует следующее:

Это постепенное расширение русских границ на северо-востоке довольно подробно записано в летописях и даже несколько исследовано нашими историками: конечно, фактов летописей об этом и результатов, которых могла бы достичь до сих пор ученая разработка этого дела, мало для филологии; но вести дело дальше настоящего его положения уже трудно, потому что если и были описания тех мест, так только в естественном отношении; для этнографии — путешественники (отправлявшиеся туда почти только с геогностическою целью) почти ничего, а для филологии совершенно ничего не записали; а без знания языков тамошних

* „Завоевание Греции“ *(франц.)*. — *Ред.*

инородцев и тамошних русских наречий нельзя здесь ступить ни шагу. Заметим общий род этой колонизации. Сначала язык русский вместе с горстью русских расширялся сам собою, без системы, усилиями самого народа. Новгородские промышленники, мещерские и другие казаки шли все далее и далее, завоевывали себе власть над туземцами и покоряли их своему языку. Так сначала язык распространялся сам собою. Потом место этих частных распространителей языка заняло правительство и стало для распространения его действовать систематически, смотря на него, как на орудие просвещения и образованности. Так бывало и везде; но у нас в этой восточной колонизации та чрезвычайно замечательная особенность, что в других местах народ и язык, налегший насильственно на туземный язык и подавляющий его, почти никогда не сохранялся совершенно чистым, а прежний язык не пропадал совершенно — так и должно было естественно быть, потому что гостей бывало почти всегда несравненно менее, нежели подавляемых ими хозяев, потому они исчезали среди огромности их массы; а в русской колонизации востока, как ни мало было число этих гостей — промышленников и казаков, не они исчезали, а сами заставляли совершенно исчезать перед собою народность покоряемого народа. Чтобы увидеть всю разность между нашею восточною колонизациею и другими, сравним два почти одновременных факта: покорение русскими азиатской Сибири и романо-германским племенем Америки. В Америке и теперь много еще остается прежних народов, сохранивших свои языки, и, кроме того, явилось множество смешанных из туземного и пришлого из Европы языков, которые уже не понятны для говорящего чистым европейским (напр., английским, испанским и т. д.) языком, из которого произошли они; а у нас в Сибири, правда, остались маленькие народы, не говорящие по-русски, но это только те, которые по отдаленности не имеют сношений с русскими; а те народы, которые в связи с русскими, все стали уже говорить по-русски; смешанных наречий нет и следов, кроме разве городского кяхтинского языка, оригинальным образом составленного китайцами через прилаживание русского к характеру своего языка: трудные для китайца звуки (напр., *р*, *ч*) они отбросили, формы также уничтожили и внесли несколько своих слов, переделав и русские на свой лад. Таким образом, общая история русского языка может не обращать большого внимания на искажение расширяющегося русского от других языков, подавляемых им: он мог принимать от них только несколько слов, сотню, может быть, две, а строй его оставался совершенно прежний — записывать вошедшие в язык чужие слова, если их вошло в язык так мало, слишком мелочно для общей истории, это дело уже специального исследования местных говоров. Но если не было на этих распространяющихся на восток местных говорах русских внешнего искажения, то должно ожидать в них от столкновения с чужими языками особенностей в изменении их по внутреннему за-

кону изменяемости: всякий закон есть сила; сила только тогда действует вполне, когда действует одна, не встречая на пути своем действия других сил; если же встречаются с нею посторонние, несогласно с нею действующие силы, то влияние их уменьшает, ослабляет, замедляет внутреннее действие силы: часть ее уничтожается, обращаясь на уничтожение других сил. Таким образом в тех местностях, где должно предполагать влияние других языков на русский, должно необходимо последовать уменьшение, замедление действий закона внутренней самоизменяемости его, так что русский язык тех мест отстанет в изменении своих форм от русского языка других местностей, не представляющих таких сжимающих влияний. На формы этой изменяемости в местных восточных говорах нельзя филологии не обращать полного внимания.

При рассматривании истории изменений языка, конечно, должно родиться много частных вопросов; но главным вопросом непременно будет вопрос о различии двух языков и хода их изменений в языке каждого образованного народа. Как скоро в народе есть класс необразованный и класс образованный, образованный класс непременно говорит одним языком, народ — другим, и язык образованного класса изменяется особым образом от того, как изменяется язык в народе. Так, язык образованного класса и язык остального народа должно рассматривать отдельно. От чего же рождается это различие между ними? Конечно, не от самой образованности класса, принимающего язык, отличный от языка остального народа: невежда лакей говорит, как говорим мы, очень образованный поселянин, купец продолжает говорить языком народа, хотя гораздо ближе к нам по духу, нежели говорящий нашим языком лакей. Так происходит это различие не от образованности; оно происходит от книги, от того, что в языке образованного класса два элемента: один принадлежит народу, а другой не народу, а книге. Таким образом, необходимо различать язык книги и язык народа. Вопрос о разделении этих двух языков такой вопрос, который долго, если не всегда, будет занимать филологию везде; но у нас он особенно любопытен. (Лл. 40 об. — 42 об.)

К стр. 37. Отрывку со слов: „Так было на востоке браминском...“, кончая словами: „У нас было не так“ в рукописи соответствует:

Так у народов браминской, буддийской, магометанской веры принят один какой-нибудь язык для всех народов одной веры как язык религии, закона, науки и литературы; почти то же самое видим и на европейском западе, хотя там сознали себя народности: как в V веке латинский язык, присвоивши себе исключительную святость, один у всех народов употреблялся в богослужении, так употребляется и теперь один во всех католических

землях; как за 1500 лет не смели тронуть своего языка для нации, так почти продолжается и теперь — разве, например, принадлежат национальным языкам естественные науки, все термины в которых латинские или греческие? Медицина до сих пор пишет свои рецепты на латинском; богословские книги, отчасти по крайней мере, пишутся по-латини. Так на Западе слишком медленно выходят новые языки из-под гнета латинского и народ решительно дробится на два народа — знающий по-латини и не знающий, а знающий только свой язык.

Между этими восточными и западными явлениями у нас было совершенно другое; не менее, или лучше сказать, более 1000 лет продолжается наша история (которую, конечно, можно и должно начинать не с Рюрика, а с VI века), и всегда народ, и в язычестве и в христианстве, оставался верен своему языку. (Лл. 42 об. — 43.)

К стр. 37. В рукописи абзац оканчивается иначе и за ним следует текст, отсутствующий в „Мыслях“:

[Книги эти послужили основанием письменности русской; она пошла по пути, указанному ими, удерживая постоянно в близком сродстве язык свой с языком народа], и язык русский всегда оставался у нас языком и веры, и закона, и науки, и литературы, и вообще книги. Что, кажется, должно было бы произойти из этого? Если в книге употребляется язык не тот, который принадлежит народу, естественно ожидать, что книжный язык будет слишком искусствен и передаст свою искусственность и народному языку, как скоро захотят употреблять его в книге. А когда, как у нас, в народе и в книге употребляется и всегда употреблялся один язык, естественно, кажется, было бы ждать, что они оба будут совершенно одинаковы: — а между тем у нас видим, что это совершенно не так — все-таки язык народа и язык книги — два различные языка. Потому причина различия языка книги от языка народа не то, что в книге употребляется вместе с народным языком, или употреблялся прежде его, чуждый язык, а то самое, что один из этих различных языков — язык книги, другой — язык народа.

Язык книжный, можно сказать, явился у нас вместе с христианством, потребовавшим священных книг для богослужения и для чтения, потребовавшим также и писанных законов. А всегда человек брал для веры и законов язык, который мог бы как можно менее переменяться; особенно церковь требует неизменности своего языка — ненарушимость содержания переходила и на самую форму. Языком для веры принят был у нас церковнославянский, не наш по крайней мере по некоторым звукам и формам, но очень близкий к нашему, потому что таких звуков и форм было очень мало, так что сначала они могли быть заменены нашими без перемены текста. Так это был свой и вместе не свой

язык, наш и вместе чужой язык, можно было сказать: это не наш, а славянский язык; и можно было сказать: это наш русский язык, как говорили с XI века. Но как скоро язык этот раз освятили в своей тогдашней форме, очень близкой к современной ей форме русского языка, он уже не стал и не мог изменяться, как язык веры. [Сам народ, чем более креп в вере и благочестии, тем более почитал этот язык и, сохраняя его особенности, сколько мог понимать их, только бессознательно нарушал их в пользу языка народного.]

А между тем народный язык все менялся, и потому они с книжным языком все более расходились друг от друга. Изменения народного языка должны были дойти, наконец, до того периода, что должны были стать решительными, коренными — по необходимости, видели мы, всегда бывает как, что язык, пошедши путем превращений, дойдет до минуты, когда лопнут пружины прежней его жизни, его формальность, и заменяется новыми — логичностью. Так бывает всегда, и бывает законно; — и в жизни каждого человека бывает несколько таких моментов решительного перелома: так бывает и в жизни языка. (В одном только тут несходство: в жизни человека эти перемены — постепенное старение; а стареется ли от своих перемен язык, еще вопрос; может быть и стареется, но мы знаем относительно этого еще так мало фактов, что не можем сказать положительно, чтобы язык мог стареть.) Для русского языка народного этот решительный перелом совершился в XIV веке, и тогда в народном языке формы исчезли, в книжном между тем остались по-прежнему; и с этим-то временем явилась решительная и ясная необходимость языку книги образоваться как особенному языку, резко отличающемуся от народного; а вместе с этим явилась и невозможность для человека, который не знал хорошо, т. е. теперь уже это значило — не изучил нарочно, языка книжного, не писать, как скоро начинал он писать, языком, мешанным из старого книжного и нового народного.

Так главная причина отделения языка книги от языка народа — самоизменение языка народного при неподвижности языка книжного, — причина, лежащая в языке народа, в его изменяемости. Но была также причина этого и со стороны книги. Книга живет книгою, язык ее выходит из языка книги; а русская книга всегда брала для себя пищу или прямо или посредственно из книги нерусской. Так на русский язык книги было влияние нерусское, влияние чужого книжного языка; сначала было влияние византийское, потом латинское; потом германское и французское; первые два постепенно падали перед последними и теперь пали; последние два смешались, сначала господствовали, теперь, наконец, тоже стали падать — вот в немногих словах общий ход истории этих чужих книжных влияний. Замечательно то, что все они гораздо легче принимались в книжный язык, нежели влияния из изменений своего народного языка. Это оттого, что из народа

с рисунком идеи приходил бы в книгу и запах круга, в котором родилась она, приходила бы вся мелочность, обыденность жизни, а этого-то и боится книга больше всего и потому лучше берет для новых оттенков понятий чужие слова, непонятные в их обыденности, потому что в русскую книгу проходят они через свою книгу, сообщающую им колорит книжный, ⟨более⟩ соответствующий колориту остальных слов и выражений русской книги, чем свои народные слова, понятные для всякого в своей обыденности. (Лл. 43 об. — 45.)

К стр. 38. Окончанию гл. IV (после предложения: „Причины внутренние и внешние дробили язык народа на местные говоры и наречия") в рукописи соответствует:

Но при этом, все увеличивающемся, отклонении языка книги от языка народного, должен наконец родиться в народе вопрос: как же могу я говорить одним языком, писать другим? говорить языком все переменяющимся, писать языком непеременяющимся? Как скоро народ дошел до этого вопроса, он не может не спросить у себя, зачем же существуют у него два языка вместо одного, должно ли так оставаться, быть ли раздвоению языков, или нет? Решается всегда: „не быть" — и начинается смешение, сближение этих двух языков, которое будет тянуться через всю последующую историю народа. И теперь уже довольно давно началось у нас это смешение книжного языка с народным; оно продолжается; но все-таки эти два языка были слишком долго совершенно отличны один от другого; да и теперь далеки от совершенного слияния, потому история русского языка представляется состоящею из связи двух главных историй — истории языка простонародного и истории языка книжного, литературного. На который же из этих двух языков она больше должна обращать внимание?

Целая партия скажет: разумеется, на язык книги; язык книги — язык правильный, высший, художественный; язык народа — язык невежественной массы, грубый, необразованный. А найдутся еще и такие, которые прибавят: язык — вещь, существующая для искусства только так, как мрамор существует для ваятеля; что мне до того, как говорит народ? Я должен изменять язык его, как хочу, как лучше для меня; только в моих руках, в моем произведении получит он свой настоящий вид, — народ говорит жаргоном. Так говорили все еще недавно, так говорят отчасти и теперь еще; и говорят не только у нас, а столько же, как у нас, даже более и хуже, чем у нас, и на Западе, где часто встретишь самые восточные, самые азиатские понятия об отношениях книжного языка к народному; самый ужасный пример таких варварских понятий представляет нам Англия, в которой самые лучшие филологи не знают своего народного языка, так что даже немцы должны учить их ему; и во Франции тоже довольно часто

говорят, что автор — господин языка, что он должен внести порядок и художественность в эту нестройную массу; что чистый французский язык — только язык книги, все остальное — жаргон, ломаный язык. Если сравнить эти мнения с господствующими у нас, то как ни неправильны и наши обыкновенные понятия, всё уже они лучше этих.

Нет, язык народный — причина создания языка книжного и самых важных перемен его; этого одного уже довольно, чтобы заставить нас обратить главное внимание наше на язык народный. У нас в истории литературы немного, только в виде прибавления, говорится о языке и о его истории, да и то об одном литературном языке, хоть последнего и не высказывается в заглавии статьи, может быть потому, что само собою подразумевается, что, кроме литературного языка, и не стоит говорить ни о каком другом. Но мы филологи, наше дело другое, и язык народный, конечно, должен быть главным предметом нашего внимания. (Лл. 45 об. — 47 об.)

К стр 38. Началу гл. V „Мыслей“ в рукописи соответствует:

Главное наше положение: теперешний русский язык — изменение прежнего русского языка; прежде он был не таков, как теперь. Многие не знают этой, кажется, слишком простой, истины, другие в ней сомневаются. Постараемся же, сколько можем лучше, доказать ее.

Первое доказательство того, что русский язык изменялся и что теперешний — изменение прежнего, находится, по моему понятию, в существовании наречий в теперешнем русском языке; теперь их несколько, различных одно от другого. Некоторые филологи скажут: „да и прежде так было“. — Может быть, и прежде были местные отличия в русском языке; но в какой степени различались они друг от друга и сколько именно их было, фактически мы не знаем, потому что не знаем даже, существовали ли они, но если они были, то мы можем объяснить себе отношение тогдашних наречий русского языка к теперешним наречиям и то, как много разнились они тогда друг от друга, более или менее, нежели теперь, сравнением этого явления с другими подобными в других языках. Возьмем древние состояния нескольких языков, напр., греческого, латинского (или собственно древнероманского, в котором латинский только одна из отраслей), немецкого, славянского, и сравним их между собою; потом сравним эти языки в настоящем их положении; наконец, сличим результаты того и другого сходства, увидим, что теперь между ими меньше сходства. Сделаем такое же сравнение между древним и новым состоянием наречий германских — вывод будет тот же: сначала сродные языки или наречия были ближе между собою, нежели впоследствии. Каждое из наречий живет и превращается своим особым путем; потому чем дольше этот путь, тем больше они уклонятся друг

от друга. А если более и все более разнообразия становится в последующее время, менее и все менее его было в предыдущее время, а прежде всего его вовсе не было. Так должно было быть и в русском: сначала вовсе не должно было быть наречий; потом явилось несколько очень близких, потом, идя каждое своим путем превращения, они всё расходились друг от друга, чем далее, тем более, дробясь в то же время сами на более мелкие говоры, с которыми происходило опять подобное же. В чем же состоит это являющееся постепенно разнообразие?

Для ответа сравним главные наречия русского языка. Их два — великорусское и малорусское. „Не два, а три", — скажут против этого одни, — „нужно прибавить к ним еще белорусское". — „Да это не два наречия, — скажут другие, — а два разные языка, как польский и русский, испанский и португальский"[12]. О белорусском скажем после, а в ответ говорящим, что великорусское и малорусское два различные языка, а не два говора одного языка, скажем, что такие заключения, как их заключение, показывают, что человек, делающий их, никогда не сравнивал двух наречий и двух языков и не понимает разницу в степени различия тех и других одного от другого. Пусть сравнит он наречия французского, итальянского, английского, германского языка — он увидит, что в каждом из этих языков можно найти два наречия, разнящиеся между собою гораздо более, нежели великорусское с малорусским. Возьмем пример свой — наречия лужицкого. Их два, верхне- и нижнелужицкое, не считая промежуточного среднелужицкого, самого древнего; между тем и другим гораздо более разницы, нежели между великорусским и малорусским; а они, кажется, сжаты на таком тесном пространстве, да и лужичан всего 150 000: как же не иметь подобного, и притом меньшего различия в языке русскому народу, которого 50 000 000, который живет так широко? (Лл. 47—48.)

К стр 41. Перед абзацем, начинающимся словами: „Довольно обратить внимания на местные видоизменения русского языка" в рукописи читаем:

Местные говоры, как великорусского, так и малорусского, делаются все разнообразнее и разнообразнее с течением времени. Как от великорусского на западе отделилось белорусское (которое потому можно назвать западновеликорусским), так отделилось и от малорусского на западе карпатское. Образовались и некоторые смешанные говоры на границах наречий, как всегда бывает, что смешанное население говорит и языком смешанным. Особенно из них замечателен говор, смешанный из малорусского и белорусского на границе между ими в Черниговской губернии, который многие и принимают за настоящее малорусское наречие. Это смешение малорусского с западным великорусским; но есть такие смешения его и с восточным великорусским, где они сходятся. — Так, неко-

торые уезды Воронежской губернии говорят на смешанном из великорусского и малорусского. Как особенные местные говоры должно заметить некоторые, конечно очень древние, остатки смешения великорусского с другими, западными, славянскими наречиями. О смешении с польским я не могу ничего сказать, потому что не знаю, справедливо ли говорят, что есть такое смешанное из русского и польского наречие в Люблинской губернии. Но я знаю, что есть такие смешанные из словацкого и малорусского говоры на границах русинов и словаков в Венгрии. В этих смешанных говорах всегда должно обращать главное внимание не на то, какие формы пропали, а на то, какие уцелели, — они почти всегда бывают древними формами, потому что смешанные наречия всегда много теряют в энергии жизни (как два срастающиеся дерева растут очень мало и медленно, пока не срастутся совершенно) и потому отстают в быстроте своих изменений от наречий несмешанных. (Лл. 51об. — 52.)

К стр. 41. После абзаца, кончающегося словами: „не сохранилось ни в одном из них", в рукописи следующий текст:

Потому для истории русского языка должно обратить внимание, кроме настоящего состояния языка народного, и на памятники прошедшего языка. Но они у нас писаны на смешанном из церковнославянского и русского языке; поэтому, чтобы не запутаться при разборе их, необходимо рассматривать язык их критически; а пособием для критики должно взять историю общего изменения славянских наречий, чтобы допускать в русском, как возможные, только такие изменения, которые вообще возможны в историческом ходе развития славянских наречий.

Чтобы сознательно понять весь ход постепенных изменений русского языка, должно рассмотреть все факты его последовательного изменения с общей сравнительной точки зрения, постоянно сравнивая факты изменения языков индоевропейских вообще и языков славянских в особенности с фактами, представляемыми нам русским языком. Постоянное сравнение русского языка с другими славянскими языками необходимо. (Лл. 52 об. — 53.)

К стр. 41. Абзац, оканчивающийся в книге словами: „и только применялся к обстоятельствам местным", в рукописи заканчивается так:

Почти всякое изменение в нем имеет аналогические явления в других наречиях. Это заметно с первого взгляда, и дальнейшие наблюдения все только более убеждают нас в этом; только не должно выпускать из виду фактов незаметных, но важных: что само собою бросается в глаза в одном наречии, то может быть или слабо развито или прикрыто другими фактами в другом наречии и потому ускользать от невнимательного, останавливающегося

на одном бросающемся в глаза, исследователя; потому нужно внимательнее всматриваться в язык, и тогда мы увидим почти не нарушающееся перерывами сходство фазов изменения в русском и в остальных славянских наречиях.

Потому мы будем рассматривать фазы изменения русского языка сравнительно с другими славянскими языками. (Лл. 53 — 53 об.)

К стр. 45. Абзац о „средних гласных“ в рукописи оканчивается так:

Чем более прислушиваемся к местным говорам, тем больше находим средних гласных; и в других западных языках, кроме славянских, также множество средних гласных звуков, иногда так много, что нельзя уже строго отличить всех один от другого, и нельзя уже выразить знаками.

Так число средних звуков в языке постепенно все возрастает; должно потому ждать их и в русском. И действительно, они есть. Очень давний признак южного великорусского — *â*, среднее между *а* и *о*, являющееся вместо всякого *о* без ударения и теперь выговаривающееся почти за совершенное *а*; *ӑ* вместо *е* — также в южном великорусском; *е* вообще в нем, когда стоит без ударения, приближается звуком к *а* или к *и*. Я не был в бо́льшей части великорусских губерний, поэтому не знаю всех средних великорусских гласных, но число их должно быть очень велико. (Лл. 60 об. — 61.)

К стр. 49. В рукописи подробнее говорится о жалобах Гуса на произношение звука *l*:

Гус, который любит рассуждать о неправильностях языка в своих предисловиях, в предисловии к одной постилле [13] говорит: „Как мы, горожане, стали небрежны! Мы уже не отличаем *ł* от *l'* (*л* от *ль*), выговаривая вместо и того и другого одно *l*, как швабы. Я этого не хочу; я хочу сохранить язык свой чистым, как сохраняет его народ среди гор, вдали от городов, между которым я вырос и который выговаривает где нужно *ł*, где нужно *l'*; так я и пишу“. Итак, во время Гуса горожане уже не отличали *л* от *ль* и употребляли только *l*, но в горах *л* и *ль* еще отличались; но что тогда ограничивалось одними городами, теперь проникло всюду, и в чешском теперь нет ни *л*, ни *ль*, а один средний *l*. Но *л* еще остался в Штирии в горах, и хорваты, говорящие по-немецки, перенесли в свой новый язык и сохранили *л*: они говорят *лаўт* вм. *laut* и т. п. (Лл. 69 — 70.)

К стр. 54. Дополнения к замечаниям о потере двойственного числа:

Некоторым казалось, что эта форма у нас заимствованная, и они ссылались в доказательство на то, что часто она употребляется

неправильно, напр., в Слове о полку Игореве часто двойственное стоит вместо множественного. Но в Слове о полку Игореве много и других ошибок, которые явно сделаны не писавшим его, не по незнанию смысла формы, а просто писцом, и которые нужно решительно считать описками и исправить (напр., в нем есть родит. вм. дательного — явно описка); кроме того, язык некоторых мест в нем подновлен писцом, и, конечно, тут должны были явиться под его пером неправильности: подновление языка писцом ясно из сравнения Слова о полку Игореве с Ипатьевскою летописью — фразы Слова в некоторых местах новее, между тем как должны бы были быть одинаковые в летописи и в Слове о полку Игореве. Вообще до XIV века оно употребляется правильно и в грамотах и везде, когда употребляется; но случаев употребления мало. Если есть случаи, по-видимому противоречащие этому, то они похожи на следующий. У нас есть два списка Смоленской грамоты Мстислава, договорной грамоты с Ригою. В начале ее говорится о двух мужах, посланных для переговоров, в конце — о свидетелях из разных немецких городов, из каждого города всё парами; в одном списке везде в этих местах говорится о них в двойственном числе, в другом списке, 1229 года, как сказано в нем, нет нигде двойственного, кроме одного технического случая (этот список напечатан у Тобина[14]). Как же, спрашивается, нет двойственного числа в грамоте, список которой принадлежит началу XIII века? Но в том и дело, что началу XIII века принадлежит только сама грамота, а вовсе не этот список ее: в нем есть множество и таких ошибок, которые предполагают XV, XVI век, а 1229 год выставлен на нем просто потому, что стоял на самой грамоте. Это не подлинник, а просто род копии, к которой прикладывались и печати, какие были на подлиннике, и переписывались подписи, и выправлялся год, стоявший на подлиннике, когда бы ни был делаем список, хотя бы в XVII, XVIII веке. Так делалось и в Ганзе, до самого XVII века; и говорят же, что в одном рижском архиве было несколько списков 1229 года с этой грамоты — ясно, что это год подлинника, а не самой копии. (Лл. 75 — 77.) *

К стр. 56. О неопределенном наклонении:

Основная форма спряжения — неопределенное; основная не потому, чтоб из нее образовались все другие формы, а потому, что, выражая абстрактное действие или состояние, она по понятию предшествует другим формам, выражающим конкретное действие или состояние: при конкретном всегда подразумевается абстрактное.

Она во всех славянских наречиях образуется от корня посредством буквы *т*; но возможность образоваться ему была не через

* Л. 76 оставлен чистым в рукописи по ошибке. — *Ред.*

одно *т*, потому что некоторые наречия делают уменьшительные неопределенные, прибавляя к *т* уменьшительные окончания (малорусское наречие образует: спатки, спатенькы), — из этого ясно, что в славянских наречиях оно имеет также характер существительного, который так ясно выказывается во французском (manger, à manger) и в немецком (das Essen), особенно в немецком, где существительные не смешались с другими частями речи по форме своею неизменяемостью (das Essen, des Essens). А если и у славян неопределенное — такое же существительное, как у других индоевропейцев, то ему должно иметь падежное окончание, потому что существительное предполагает склонение и различные окончания для падежей. А падежи главным образом различаются друг от друга согласными; поэтому наше *т* неопределенного должно быть признак падежа, который один уцелел у нас из нескольких первобытных падежных форм неопределенного, как в других индоевропейских языках уцелели формы (конечно, также падежные) с другими согласными *r*, *n*, *h*.

В древнем языке мы находим в неопределенном нашем две формы или два падежа: обыкновенную (*-ти*) и достигательную (*-тъ*). Достигательная форма всегда ставится с глаголом, поэтому она собственно склоняемая форма (падеж отглагольного имени), так как глагол всегда требует склоняемой формы (падежа). А если нам удастся проникнуть в язык глубже по каким-нибудь непонятным еще в настоящем их значении одиноким древним формам, случайно уцелевшим, по каким-нибудь окаменелым остаткам (вроде *внутри, кстати, де, на* и т. д.) от глаголов, как есть такие остатки от существительных (напр., эти *внутри* и *кстати*), то мы можем встретить и формы неопределенного без *т*; такое неопределенное должно было существовать: в других языках в (позднейшем или производном, по нашему мнению) неопределенном, параллельном по образованию нашему неопределенному на *т*, встречаем же мы не *т*, а другие буквы: *n* в греческом, немецком; *r* в латинском; *h* в кельтском. Не ясно ли, что все эти формы разошлись от одной общей формы? а если так, то не ясно ли, что в этой общей форме не было ни *r*, ни *n*, ни *h*, ни *t*? Мы должны искать ее, и можем надеяться найти.

Как бы то ни было, но неопределенное наклонение имело кроме формы на *-ти* еще достигательную форму на *-тъ* в первоначальном языке. (Лл. 80—81 об.)

К стр. 57:

У хорутан есть некоторые следы прошедшего простого; но это остатки окоченелые, более других местностей уцелело их в Зильской долине в Каринтии, и мне первому удалось заметить их [15]. Легко представить себе, как могло это быть приятно Копитару, который получал новое доказательство, по его мнению, тожества старославянского с хорутанским в этих „би“ и т. п. Но

если бы даже и удалось нам доказать, что все грамматические формы, бывшие в одном наречии, были и в другом, из этого вовсе еще не следовало бы, что два эти наречия одно и тоже наречие; взгляд Копитара был на это ложный. То, что идея прошедшего простого не совершенно еще потеряна у хорутан, ясно из того, что когда пограничные сербы, живущие колониями между хорватами и Крайною, употребляют в разговоре с хорутанами прошедшее простое, хорутане очень хорошо понимают эти формы, хотя сами уже не употребляют их, между тем как мы, например, уже не чувствуем, что в „я бы хотел это знать", *бы* — прошедшее простое: по нашему „хотел бы" просто сослагательное наклонение, и „бы" не глагол, а частица, союз. Хорутане употребляют замечательным образом иногда 2-е лицо множ. прош. простого, но не в смысле прошедшего, а в смысле настоящего (учисте, делаесте вм. учите, делаете). Такая мена времен странна, но у славян есть подобные случаи. Напр., мы сами употребляем настоящее вместо будущего. (Лл. 82 об. — 83.)

К стр. 58:

Почти все до сих пор говорили, что в русском прошедшего простого не было никогда. Но мы видим, что простые формы прошедшего господствуют в наших памятниках еще и в XIV веке. [В памятниках не только XIV, но XIII и XII века встречаются, правда, ошибки против их правильного употребления.] Из этих ошибок некоторые (между прочим, Павский) хотели выводить заключение, что прошедшее простое не было никогда русскою формою, что оно занято из церковнославянского; потому что если бы оно было нашею формою, смысл которой был бы вполне ясен употреблявшим ее, то этих ошибок не было бы. С этим выводом нельзя согласиться. (Л. 83 об.)

К стр. 62:

Прежде говорили, что дательный самостоятельный в церковнославянском чужой, занятый из греческого, следствие буквальности перевода [16]. Но теперь более и более мы убеждаемся, что этого не могло быть, что он свой, потому что, кроме церковнославянского, есть и в русском. (Л. 91 об.)

К стр. 63, после слов: „будут также найдены в той же неисчерпаемой сокровищнице — памяти народной".

Когда мы хорошо узнаем все наречия и все местные народные говоры, мало останется потерянного, а в древних памятниках мало необъяснимого или даже вышедшего из употребления. Как много в языке местных наречий такого, что может объяснить древние памятники, я знаю теперь по опыту, разбирая местные

словари, присылаемые мне из Академии наук и особенно из Географического общества, которых корректуры читаю я. (Л. 93.)

К стр. 64 (в связи с вопросом о заимствованных словах):

Этимологи прежние действовали слишком нерационально, не имели нужных познаний, не знали истинной методы и всякое показавшееся им странным слово, не справляясь ни с первоначальными формами его в нашем языке, ни с тем, нет ли его в других славянских наречиях, производили тотчас от какого-нибудь немецкого, латинского и т. д. слова, часто с невообразимыми натяжками или недосмотрами. [Сравнение наречий славянских привело б их совершенно к другим заключениям;] слово, кажущееся в нашем наречии заимствованным с других языков, странным или стоящим слишком одиноко, прежде нежели провозглашать его чужим, нужно поискать в других славянских наречиях; если оно есть во всех или есть в таких, которые не могли получить его оттуда, откуда оно, по-видимому, взято, нет сомнения, что оно наше, а не занятое. Но если его нет и во всех остальных славянских наречиях, оно может быть чисто славянское, древнее, уцелевшее в одном русском. Это может доказать нам сравнение с другими индоевропейскими языками: если известное слово находится в большей части из них, значит оно общее индоевропейское, следовательно, и славянское слово. Возьмем для примера слово *нети* — племянник. Говорят, что это немецкое Neffe. Но для этого нужно 1) доказать, что Neffe было в скандинавском, из которого из одного могло оно зайти к нам, — но в скандинавских нет ничего подобного; есть там, правда, „newa“, но, во-первых, это другой корень, и потому, что значит — молодая девушка, невеста; во-вторых, *нева* (= нашему невеста) есть в сербском, следовательно, *newa* не могло быть у нас чужим. 2) *Нети* не должно иметь чисто русских форм в других своих изменениях, а в сербском есть *нетерь* (= матерь, свекровь от мати, свекры), поэтому было „нети“, род. „нетере“ женского рода — самое древнее и самое славянское окончание. Иногда слово кажется не своим просто оттого, что мы не умеем разложить его с первого раза; но сравнительная филология поможет нам разложить его, и тогда оно явится как нельзя более нашим. Так она показывает нам предлоги, которых мы не подозревали в слове, казавшемся оттого чужим; напр., сутяга — откуда не производили этого слова! — а между тем оно просто состоит из предлога *су-* (сѫ-) и *тяг-* (*тѧг-*); от корня *тяг* есть, напр., тягаться, тяжба, а *су* (*сѫ*) — такая же параллельная форма к *съ* — *со*, как *нѫ* к *нъ* — *но*, форма, уцелевшая также в *сусед, супротив* и т. д. Тоже и слова *сурожь, сурѣпица* сложены из очень славянских слов *рожь, репа* и этого *су* (*сѫ*) = *с*. Так, и слово *бвседа* кажется мудрено для этимологов потому только, что они не вспомнят, что предлог *бе*, сохранившийся у нас только в сложной форме *без*, должен был быть и

у нас в простой форме (*без* сложено из *бе* + *з*, как *раз* из *ра* + *з*; *чрез* из *чре* + *з*) с значением = *с*, как сохранился он в простой форме у германских народов (bei, by) — тогда *беседа* очень просто разложится на *бе*- (=с) и *сѣд* — (сесть, сидеть) и будет просто значить séance, Sitzung (сидеть с кем, т. е. говорить). Так и *радуга* разложится на *ра*- (уцелевший в простом виде в лат. *re*-, у нас только в сложном *раз* = *ра* + *з*) и *дуга* и будет очень простое слово, подобное лат. arcus, франц. l'are en ciel.

Разные влияния на наш язык внесли в него, таким образом, гораздо менее слов, нежели кажется, особенно в народный язык. (Лл. 93 — 94 об.)

К стр. 63—64, после слов: „с тем особенным оттенком звучности, который требуется характером местного выговора“:

Мне самому случалось, когда я, разговаривая на чужом языке с простым человеком и не находя на его языке знакомых мне слов для выражения своей мысли, выдумывал новые слова, чтобы как-нибудь передать ему свою мысль, несколько раз выдумывать такие слова, которые уже существовали в этом языке и были знакомы тому, для кого я их придумывал. (Лл. 95 об. — 96.)

К стр. 64, после второго абзаца:

В словах, создаваемых народом вновь из материалов, представляемых языком (корней и способов произведения слов от них), и постепенно увеличивающих лексикографическую массу языка, видим доказательство, что наш язык не потерял своей жизненной силы. Но если язык сохраняет еще свою жизненную силу, в нем не только производятся новые слова, от готовых корней — нет, говорящий выдумывает новые корни для выражения оттенков понятия, для выражения которых не находит он готовых слов в своем языке. Такая способность создавать новые слова с новыми корнями, например, чрезвычайно сильна в языках североамериканских дикарей, у которых быстро изменяется от этого вся масса языка, как говорят путешественники-филологи. (Л. 95.)

К стр. 64 — об офенском языке:

В Костромской и Владимирской губерниях мало земли; поэтому народ расходится оттуда по всей России заработывать себе хлеб; из этих губерний большая часть наших ходебщиков, странствующих продавцов, мастеровых и извозчиков. И вот костромчанин или владимирец, странствуя по всей России, как варяг[17] или что-нибудь подобное, разносит повсюду и свой особенный язык, в котором весь строй чисто русский, все слова совершенно другие по своим корням, нежели русские. Подобные этому „офенскому“ языку наречия существуют и в других индоевропейских языках, как языки воровские, языки мошенников, воров, разбойни-

ков, составленные ими нарочно для того, чтобы можно было говорить им между собою при других, непосвященных, не открывая им чего не нужно; таков, например, французский воровской язык, l'argot. Так думают и про офенский язык, что это, вероятно, такой же воровской язык. [Едва ли это мнение справедливо. Бесспорно, что он бывает употребляем] знающими его и для того, чтобы говорить между собою по секрету от покупщиков; [но так употреблен может быть всякий неизвестный язык, каково бы ни было его происхождение,] и мы сами, например, говорим для этого при случаях между собою по-французски или по-немецки; а выдуман с этой целью офенский язык быть не может, и потому вовсе не воровской язык: такие языки слишком таят посвященные в них, одни только стараются знать их и никогда не согласятся учить им других. А наши офены готовы учить своему языку кого угодно, лишь бы только была охота: мне самому, например, объясняли его с большою готовностью, когда я попросил об этом. Да и не одни разносчики, варяги, которым нужен он, чтобы переговариваться между собою при покупщиках, знают его, а точно так же и плотники, штукатуры и т. д. из Владимирской или Костромской губернии: им на что воровской язык? Какие тайные плутовские разговоры нужно бывает вести им? (Лл. 96 — 96 об.)

Таким образом, мне кажется несомненным, что офенский язык — местное костромское и владимирское наречие, обыкновенный простонародный язык, очень много отличный по составу от остальных русских наречий. Это с внешней стороны. А по внутренней стороне — это произведение природы, сам собою образовавшийся, как все другие, а не выдуманный язык. Выдумки есть в нем, но их не много; есть в нем теперь такие слова, которые, происходя от русских корней, повторяют только их в вывороченном виде, но таких слов в сравнении с остальными немного, масса их — самостоятельные корни. Я показывал маленький список слов этого языка Потту: он говорит, что все эти слова могли быть в русском языке, как и в других индоевропейских языках, потому что корни их индоевропейские; некоторые из них и теперь существуют в индоевропейских языках, другие потеряны, но могли существовать, потому что все носят на себе дух и характер индоевропейских корней; тем более вероятности, что все они существовали в индоевропейских языках, что есть между ними очень древние формы, напр., *мас* — человек или я, форма местоимения первого лица, уже утратившегося в именительном везде, кроме литовского (*aš*) — яз, ich, ego и т. д., уцелевшая только в косвенных падежах мене, ми; mir, mich; mei, me и много других подобных. Некоторые офенские слова попадаются в наших старинных памятниках, следовательно, прежде были в общем русском языке. Таким образом, офенское наречие имеет большую важность; и нужно желать, чтобы кто-нибудь из наших филологов сделал его предметом своего серьезного изучения. (Лл. 97 — 97 об.)

К стр. 65, после первого предложения главы VI:

Потому история изменений языка народного и история изменений языка письменного начинаются почти в одно время. И в дальнейшем пути изменений у языка письменного и языка народного очень много общих черт; хотя, конечно, путь изменений языка письменного не может быть одинаков с путем изменений языка народного. В языке народном преобладает настоящее, его нужды и удобства; он исключительно повинуется жизни, а жизнь говорит: разрушай старое, строй новое. Так говорит она и в материальном мире — живи в новых домах, ломай старые, переделывай, если не ломаешь, потому что они ветхи и неудобны, если б не были ветхи; так говорит она и в мире нравственном. Но та же самая душа человеческая, требующая везде нового, говорит человеку: береги памятники древности, не разрушай их, они дороги для меня. И человек, повинуясь ей, бережет то, что ему уже не нужно, бесполезно было бы, если б он знал одни требования настоящего. В письменном языке преобладает стремление сохранить древнее, прежнее. Но эти два языка не могут жить без сношений, без зависимости друг от друга. Народный язык говорит книжному: бери новое, бросай старое, превращайся; язык книжный говорит народному: береги древность. Так они мешают друг другу быть вполне последовательными, везде выдержать и провести свои стремления; язык книжный останавливает старое в языке народном, народный язык еще больше вносит нового в язык книжный; но в главном каждый из ⟨них⟩ сохраняет свой собственный, свой особенный характер. Язык народный все изменяется, книжный язык далеко отстает от него, потому что он язык веры, язык закона, язык истории. (Лл. 99 — 99 об.)

К стр. 67, после предложения, кончающегося словами: „чем нужнее казалось поддержать важность речи“:

Говоря вообще, язык старославянский, принесенный в нашу письменность с христианством, очень немного отличался до самого XIV века от современного народного языка, хотя он оставался почти неизмененным, между тем как язык народа все-таки мало-помалу изменялся, и таким ⟨образом⟩ язык книжный делался постепенно более чуждым и менее понятным народу, нежели вначале. (Лл. 100 об. — 101.)

К стр. 67, после слов: „от изменений, которым подвергался книжный язык независимо от народного“:

Отделившись решительно от языка народного, язык книжный должен был искать средств своего развития в самом себе, в языке книг, а не в языке народа. А не развиваться он не мог с расширением круга литературной деятельности. [Трудно было писателю

ограничиваться в круге понятий ученых, для которых были готовы приличные выражения] в книжном нашем языке, нужно было искать новых слов и оборотов. Но когда раз книжники приняли уже за правило: „береги книжный язык от народного“, они не могли обратиться за этими словами к народному языку — нужно было самим постепенно составлять [новые слова производные и сложные], которых не было бы в народном языке, [и число этих слов увеличило с течением времени состав книжного языка на третью долю, если не более;] или нужно было искать этих слов в старых книгах — их искали и находили во множестве. А когда язык народный стал низок, негоден для книги, язык книги стал казаться всегда хорош, годен, правилен, явилось понятие: бери все из книги, что тебе нужно, там все найдешь и все хорошо; не бери ничего из народного языка — там все дурно. И стали брать в свои книги все, что находили в прежних книгах, какие могли иметь в руках; книги эти были почти все церковные, а церковные книги были не русские, а буквально переведенные с греческого в России — поэтому греческие по духу своего языка, или сербские, болгарские, переведенные с греческого в Болгарии, Сербии; так обороты, фразы, слова греческие, сербские, болгарские были перенесены в русский книжный язык. (Лл. 101 об. — 102.)

К стр. 67, после окончания абзаца:

Расстояние между этими двумя языками все увеличивалось, так что язык книжный делался все менее и менее понятным народу; если б стало продолжаться это расходящееся развитие, язык книги и язык народа должны были стать друг к другу так, как стоят языки латинский и французский. Но это было слишком абсурдно, и потому можно было предсказать, что скоро положение дел переменится, потому что увидят нелепость пути, по которому шли. Этот поворот и действительно начался в XVII веке. Еще не кончилось стремление языка книжного отдаляться все более от народного, презирать его, когда уже явились попытки действовать наоборот, сблизить книжный язык с народным. (Л. 102.)

К стр. 68, после слов: „Временное отделение Руси западной от восточной не могло, между прочим, не наложить печати на местных видоизменениях нового книжного языка“, в рукописи следует:

и самые первые попытки писать языком более прежнего приближающимся к народному, были сделаны на смешанном белорусско-малорусском языке, которым говорили при дворе литовском и который был дипломатическим языком западной Руси: на смеси его со старославянским стали писать проповеди, стали переводить на этот смешанный язык св. Писание и т. д. Потом явились попытки писать на подобном смешанном языке в Москве

и потом в Петербурге; эти попытки явились не от западного, киевского, влияния, как обыкновенно думают, а самостоятельно, только позднее, нежели в Киеве. Правда, идея была в этих попытках общая с идеею попыток киевских; но тем не менее эта идея не пришла из Киева; правда, были и заимствования из того, что́ и как было сделано в Киеве, были следы киевского влияния, но только у приезжих в Москву и Петербург киевлян, напр., Феофана Прокоповича и Стефана Яворского, а не у всей массы их сподвижников великорусских. Но как хотели изменять эти люди книжный язык для сближения его с народным? Только отрицательно; они хотели не употреблять в книге ничего такого, что непонятно народу; но вместе с тем они не хотели употреблять и ничего такого, чего не было в книге, в готовом уже книжном языке. Так они хотели достичь двойной цели — и быть понятными народу и не унизить языка книги; но вместо того, чтоб достигнуть, чего хотели, они только обременили себя двойными оковами; язык у них под пером одеревенел, потерял богатство и не приобрел жизни, только исказился, а не улучшился. От этой двойной цели, от этих двойных оков происходит то, что в языке, например, Кантемира, беспрестанные противоречия, ужасная непоследовательность, безалаберщина: напрасно думают, что это от того, что таков был тогда язык общества — он не мог быть таков, и это следствие не его влияния, а стеснения, налагаемого на себя по теории.

Так мало-по малу утвердилась у нас идея необходимости понимания книжного языка народом и вызвала постепенно чувство народности. Это сознание необходимости народности, в книгах по языку и по содержанию все делается яснее, сильнее, непреодолимее; и история нашей новой литературы состоит в том, что все более и более удалялась она и по языку и по содержанию от старой книжной литературы и все более и более почерпала и язык и содержание из народа. В этом периоде почти вся масса русского народа уже сосредоточилась в Москве и Петербурге, потому все местные наречия нового книжного языка стали сближаться под влиянием московского великорусского наречия и теперь совершенно исчезли перед ним. [Но это сближение могло происходить только медленно, и столько же медленно приобретало свои права на ународование книжного языка господствующее наречие великорусское.] Влияние церковнославянского и теперь еще очень сильно сохранилось в нашем книжном языке; господствовавши в нем около 500 лет (мы сказали, что при введении с христианством к нам в книжную литературу церковнославянского языка он почти не отличался ничем от русского, а что это продолжалось до самого XIV века, и что только с XIV века церковнославянский резко стал отличаться от русского; поэтому с XIV века собственно и должно считать его влияние на русский книжный язык), он слишком глубоко укоренил свой элемент в русском, так что, может быть, и никогда мы не освободимся от него вполне. (Лл. 102 об. — 104.)

К стр. 69, после предложения: „Таким образом, новый период истории книжного русского языка ∼ далеко еще не окончил своего цикла“:

Борение влияния современного, живого, народного языка на книжный язык с тем, что есть в книжном языке отжившего в народе, и с влиянием церковнославянским — одна черта в истории книжного языка; другая черта — влияние на книжный язык чужих нашему языку языков. Об этом влиянии общее мнение — что оно вредно для языка. Но нет вещи, которая была бы абсолютно вредна или даже всегда вредна. Так, мне кажется, и влияние чужих языков на наш книжный язык было не вредно, а полезно.

Азиатские языки почти не имели никакого влияния на наш книжный язык; если и было их влияние, то только на некоторые местные говоры. Византийское влияние, напротив, было сильно, особенно в XIII и XIV веках, когда вносились в книги византийские фразы и обороты, не говоря о множестве слов. Но один писатель делал это, другой не делал; потому византийское влияние собственно простиралось только на личность известных писателей, а не ⟨на всю⟩ письменность, было делом личного желания подчиняться ему, а не делом необходимости.

После него, в XV — XVI веках, является латинское влияние; и оно, подобно ему, простиралось только на некоторых писателей, а не ⟨на⟩ всю письменность. Несравненно более всех этих языков имели влияние новые западноевропейские языки. Здесь было и отчасти есть настоящее влияние; заимствования из них проникли всю письменность, сделались необходимыми в ней, проникли и в жизнь с такою же необходимостью, так что не только не можем мы обойтись в разговоре без занятых из них слов, а даже употребляем очень часто галлицизмы, германизмы и т. д. Против этого-то влияния особенно восстают теперь, провозглашая его вредным, и только вредным, искажающим язык. Но мне кажется, что в нем нужно видеть не одну порчу чистоты языка, что оно принесло и приносит пользу. Важно уже одно вот что: книжный язык не мог дольше оставаться в том положении, какое владело им до XVIII века; его должно было вывесть из этого оцепенелого, дикого, отсталого положения. Но чем же вывесть? Одной воли народной было для этого мало — и вот эти чужие живые языки, привившись к нему, внесли в него необходимость современности, жизни. Карамзин, например, ввел в него много чужих слов и оборотов, но он же придал ему, именно этим гораздо более прежнего современности, жизненности.

Так, если цель, к которой стремится книжный язык, полное совпадение с языком народным. [она еще впереди, — и видна, и далека.

Но точно ли то цель, что ею кажется?..] (Лл. 105 об.—106.)

Далее текст конца рукописи совпадает с окончанием гл. VI „Мыслей“.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *„Митридат“* — многоязычный словарь, составлявшийся известным полигистором И. Х. Аделунгом (1732 — 1806); после смерти Аделунга издание продолжалось И. С. Фатером.
Бальби Адриано (1782 — 1848) — географ и статистик; его „Этнографический атлас земного шара“ вышел в Париже в 1826 г.

[2] Сочинение Дица о романских языках — „Грамматика романских языков“ (3 тт., 1836 — 1844) — основоположника романского языкознания Ф. Дица.

[3] В феодальной Польше с 1573 г. было установлено право депутата-шляхтича остановить работу сейма, прибегая к праву вето, выражаемому возгласом: „Nie pozwolam“.

[4] Подробный перечень источников дан П. И. Шафариком в его труде „Славянские древности“. В записях о грамматических и лексикографических трудах по славянским языкам нигде не говорится. Одно из двух: либо это не отражено в записях курса, либо об этом шла речь прежде, в другом курсе.

[5] Имеются в виду следующие работы: „Vergleichende Grammatik“ Ф. Боппа (Берлин, 1833); „Etymologische Forschungen“ (1833 — 1836) и „De linguarum letticarum“ (1841) А. Потта; введение к работе В. Гумбольдта „Über die Kavisprache auf der Insel Java“; „О различии в строении языков и о его влиянии на духовное развитие человеческого рода“.

[6] „Deutsche Grammatik“ Я. Гримма (тт. I — IV) вышла в 1819 — 1837 гг.; его же „Geschichte der deutschen Sprache“ — в 1848 г.

[7] Имеются в виду работы Августа Фукса „Über die unregelmässigen Zeitwörter in den romanischen Sprachen“ (Берлин, 1840) и „Die romanische Sprachen in ihrem Verhältniss zum Lateinischen“ (1849).

[8] Словарь древневерхненемецкого языка Э. Граффа вышел в 1835 — 1843 гг.; „Glossarium sanscritum“ Ф. Боппа — в 1847 г.

[9] Имеется в виду, видимо, книга французского филолога Фредерика-Густава Эйхгофа (1799 — 1875) „Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde“ (Париж, 1836).

[10] *Капитулярии* — наименование королевских распоряжений во Франции при Каролингах.

[11] Статья Н. И. Надеждина — „Об этнографическом изучении народности русской“ в кн. 2 „Записок Русского географического об-ва“, Спб., 1847 г.

В этой статье, по словам Пыпина, „Надеждин указал теоретический объем этнографии с такой широтой, какой у нас еще не было видано“ (А. Н. Пыпин, Ист. русской этнографии, т. I, Спб., 1890, стр. 267). Тогда же Надеждиным была составлена, а Географическим обществом разослана по губерниям подробная программа собирания этнографических материалов.

12 О русском и украинском как о двух разных языках писал в 1830—1840 гг. М. А. Максимович; три наречия, включая белорусское, выделял в восточнославянском Н. И. Надеждин.

13 *Постилла* (от лат. post и illa — „после сих“ (имеются в виду — строки „священного писания“) — название проповедей, следовавших за чтением на литургии отдельных мест „священного писания“, а также — наименования сочинений, содержавших комментарии к библейским текстам.

14 *Э. К. Тобин* (1811 — 1860) — профессор Дерптского университета; автор ряда исследований по истории древнерусского права.

15 Срезневский имеет в виду свои наблюдения весной 1841 г. во время путешествия по славянским землям (см. „Путевые письма И. И. Срезневского из славянских земель“, СПб, 1895).

16 Указанной точки зрения придерживался и А. Х. Востоков.

17 *Варягами* называли скупщиков или мелочных торговцев-коробейников в деревнях.

СОДЕРЖАНИЕ

Измаил Иванович Срезневский
МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Редактор *О. Г. Шикина*
Художник *И. Д. Кричевский*
Художественный редактор *М. Л. Фрам*
Техн. редактор *Н. П. Цирульницкий*
Корректор *Н. Г. Дмитракова*

* * *

Сдано в набор 26/V 1958 г. Подписано к печати 2/XII 1958 г. 60 × 92 1/16.
Печ. л. 8,5 + 1/8 вкл.
Уч.-изд. л. 8,70 + 0,05 вкл.
Тираж 7500 экз. А-09446. Зак. № 184.
Цена без переплета 2 руб. 40 коп., переплет 1 руб. 50 коп.

* * *

Учпедгиз. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

Отпечатано с матриц типографии № 1 «Печатный двор» в типографии им. Котлякова. Ленинград, Садовая, 21. Заказ № 471.